



С КАЗИ

Владимир КАРПОВ

г. Москва

Роман

(Окончание.)

Начало в № 11-12, 2025,

1-2, 2026)

II

ВМЕСТЕ С ЛОШАДКОЙ

ПИКЕТ

Это был год, когда проводились первые Шукшинские чтения на Алтае. Со дня такой внезапной кончины Василия Макаровича не минуло и двух лет. «Калина красная» не переставала собирать по всей стране переполненные залы. Вот он, «веселый человек», как говорил про себя герой фильма Егор Прокудин, — Горе, — вор-рецидивист в облике Шукшина был живым, страстным, любил, страдал, цеплялся крестьянскими руками в землю, желая вернуть дарованное от роду предназначение. Вот только Макарыч играл гибель своего героя на экране, а вдруг возьми да и помри по настоящему. В сорок пять лет, на взлете, при невероятной всенародной любви.

Шукшинские чтения преобразили Алтай в том смысле, что знаменитости — артисты, политики, писатели, всякого рода популярные фигуры — стали обыденным явлением на этой земле. Ехали и просто паломники: разбивали палаточные городки на Катуня у подножия горы Пикет.

Валё приехал на родину, так же специально подгадывая под это событие. В свои двадцать четыре он был отцом полуторагодовалого сына, которого вместе с женой они назвали Егором, и трехмесячной дочери по имени Ира. С такими маленькими детьми молодые беспечные родители прибыли тогда в Бийск на поезде, с пересадкой в Новосибирске, где сыну поставили в привокзальном медпункте шину на руку: отец в поезде торопился пристрастить ребенка к спорту.

Семейство оставил у братки Сени, на улице Краснооктябрьской, а сам поспешил в дом детства в разрезе по переулку Телецкому.

Разрезом назвали маленькую узкую улочку, которая соединяла два соседствующих пере-

улка. Одна сторона разреза проходила под горкой, другая на взгорье. Обзор отсюда был великолепный!

Дядя Вася как сидел на скамейке у веранды дома, когда Валё с мамочкой уезжали в Киргизию, так и продолжал сидеть. И смотрел вдаль, как смотрел, попыхивая козьей ножкой, сидя на лошадке, с косогора у села Кажа.

Собачья будка стояла на том же месте. Цепь лежала зигзагом рядом, уже замытая песком: почва на участке была песчаной, отчего когда-то приходилось привозить чернозём, и Валё разбрасывал его по огороду. На пряжке ошейника и подстилке в будке остались клочки длинной выцветшей серой шерсти Тарзана. В воображении Валерия радостно заскулил и забил хвостиком маленький лохматый щенок.

Дядя Вася, всхлипнув и вытерев слезу, заговорил отвыкшим от собственного звука голосом:

— Ты вот мне скажи, почто это все кругом Шукшина хвалят? На войне он не был. Ленина не видел.

Валё почти рассмеялся: в школьные годы перед большими праздниками обычно устраивались встречи с людьми, видевшими Ленина.

— Он писатель.

Довод был явно неубедителен. Пришлось добавить:

— Ну, как Лев Толстой.

— А-а, как Толстой, — глубоко кивнул дядя Вася.

И вновь замолчал, глядя вдаль.

Вид открывался на половину Заречья: разрез, улицу Гоголевскую, на которой Валё родился и жил до одиннадцати лет, улицы Лермонтовскую, Андреевскую, светловодую Бию с высоким обрывистым противоположным берегом. Везде — одноэтажные дома, огороды — всё, как было и прежде.

Что видел дядя Вася — Василий Макарович, полный тезка Шукшина — в этой неменяющейся годами картине?

Много позже, когда в интернете появились сайты «Бессмертного полка», Валерий в поисковике набрал «Василий Макарович Лютаев» и с большим удивлением обнаружил, что этот тихий бессловесный человек, кажинский пастух,

прошёл всю войну и был награжден орденом Красного Знамени. Но ещё больше удивился, когда нашёл его имя в списках осуждённых ГУЛАГа. Он отбывал наказание по пятьдесят восьмой статье, правда, по тем временам недолго: два года. Потом реабилитирован. Расспросить об этом к той поре было уже не у кого. Оставалось догадываться: Василий Макарович по роду кержак — старообрядец. Людям этого христианского вероисповедания страна обязана созданием крупных железорудных заводов и торговых домов. Но как при царе-батюшке, так и при Советах старообрядцев преследовали или держали в узде: сплоченная сила, не особо впускающая веяния извне.

Дядя Вася женился на мирской, положенных старообрядческих правил не придерживался. Вот у него в Бийске жил родной старший брат, тот был настоящим кержаком: с младшим братом не знался, а вот Ирину Михайловну, не кровную родственницу, мирскую, привечал. Маленький Валё с мамочкой бывал в его истинно кержацком доме: за высоким тесовым забором, с большим подворьем, где была и конюшня, и коровник, и невероятное количество клеток с крупными кроликами. Сам же хозяин — дядя Ёся — был низеньким, с писклявым голосом и большой окладистой рыжей бородой. Если в его доме давали попить воды или молока, то обязательно в отдельном ковше, которым не пользовались сами. Пить было немного неприятно, потому что кругом запах стоял особый, кержацкий, застоялый — от сундуков вековых окованных, тряпья и рухляди, от того, что всё наглухо огорожено, спрятано от глаз — не продует. Да оно и не Кажа, где за двором поле — воля вольная! — а район Заречье, город!

Одно у Василия Макаровича оставалось от кержаков: скрытность.

— Здорово, бродяга! — приветствовал снизу, из разреза, вскинув сухую пятерню, приехавшего и повзрослевшего соседа дядя Юра Скороходик. И зашелся кашлем.

Когда они с мамочкой переехали сюда, мужики в разрезе были крепкими, сильными. И только Скороходов чахоточный. Про него говорили, что осталось ему жить не больше года. Но вот прошло десять-пятнадцать лет, и с каж-

дым приездом Валерия былого люда становилось меньше, а тощий длинный Скороходик как кашлял, так и продолжал кашлять. Поговаривали, что спасается собачатиной.

— Здорово, дядя Юра! — обрадовался гость.

Именно тшедушный дядя Юра учил в свое время мальчишек упражнениям на турнике: сам он легко делал подъем переворотом, выход силой, висел на одной согнутой в локте руке.

Дымчатый кот Барсик выскочил из отверстия в фундаменте, прошествовал мимо веранды: крупный, с лоснящейся шерстью и пиратскими усами на словно приплюснутой широкой морде. Жив, здоров! Котенком был таким шустрым, молниеносным, птичек ловил, а уж ласкался! Тогда и знать не знали о специальных кормах для кошек. Так, молочка иногда дадут или рыбки потроха, которые всё одно выбрасывать. Котов потому и держали, чтобы они кормили себя сами: ловили мышей и крыс. Не водилось и специальных ванночек, куда бы они ходили. Дырка в углу пола в подпол, отдушина из подпола, и гуляй! Зимой, в лютый мороз, внешнюю дыру затыкали, выпускали котов через дверь. Набегался, сладил дела, пришел, помяукал, выпустили.

На натуральном корме старый Барсик был гладок, повадки имел большого хищного зверя и жил долго. Глянул на бывшего хозяина с небрежением: ну, мол, приехал, и что? Есть дела поважнее. Валерий позвал кота, шагнул за ним, нагнулся, хотел взять на руки, но Барсик оскалил клыки, взмахнул когтистой лапой. В такой боевой стойке постоял мгновение, ожидая, что будет, развернулся и пошёл себе прежней поступью. Собаки привыкают к хозяину, а коты — к месту. Сколько было случаев в разрезе, когда увозили постаревшую кошку, которая бросала ловить мышей, за десятки километров — возвращалась!

Гора Пикет в Сростках издали казалась распускающимся бутонem. Так полно и плотно была заполнена народом, прибывшим почтить память Василия Шукшина. Валерий с семьей поднимался от подножья пешим ходом, полуторагодовалый сын шёл упорно, но иногда отец сажал его на горбушку. Крохотную дочь тогда несла мама в босоножках на высоченной

платформе по тогдашней моде и в коротенькой подростковой юбчонке, чуть наклонись — и прелести наружу. Так вот одевались девушки и молодые женщины при строгой, как стали говорить, советской власти!

У монголов-завоевателей был такой обряд — Обо — нужно занести на вершину горы камень и уложить в общую грудку, свершив, таким образом, своеобразную молитву. Валерий думал, что и его семейство, и все вокруг свершают подобное единящее действие, поднимаясь на Пикет.

Сверху, казалось, была видна вся Россия. С одной стороны — равнина, с другой — горы. Чуйский тракт витиевато взбирался ввысь, река Катунь стремительно ниспадала с верховья. От склона, между берегом и трактом, пролегло большое село Сростки. Когда Василий был нищ и гол, а мать посылала ему последнюю копейку, он говорил ей: «Подожди, мама, я тебе самый большой дом в деревне куплю». Купил: дом под железной крышей стоял у подножья горы, хотя теперь уже он не был самым большим. Приобрел он ей позже и двухкомнатную квартиру в Бийске, недалеко от вокзала, чтобы, приезжая на родину, быстрее оказаться у мамы. Валё, узнав адрес, успел сходить к Марии Сергеевне — подарил громадный букет цветов. Стены двух комнат и кухни были завешаны портретами и фотографиями Василия Макаровича. Портреты стояли и на кроватях, прислоненные к стенам и пухлым подушкам, устроенным одна на другой и покрытым накрахмаленными белыми накидками с ажурной вышивкой. Сын смотрел отовсюду. Развесёлый, задумчивый, с бедой на челе. Люди — художники и фотографы — хотели хорошего, дарили матери свои работы. «Двух мужей похоронила, сердце будто резали, — говорила она незнакомому явившемуся парню, тоже желавшему хорошего. — А Васю схоронила — сердце взяли и вырвали». Вот он, страстный, цепляющийся за живое язык шукшинских рассказов!

Валё учился в Ленинграде на последнем курсе, шёл по Пионерской площади, спешил между лекциями в кафетерий на углу переулка Ильича (ныне — Казачьего). Половинка большой ватрушки стояла тринадцать копеек,

стакан какао — семь. Двадцать копеек — обед. Вдруг навстречу — Валька, жена: черные волосы на ветру, легкая, быстрая, хотя живот уже выпирал аккуратненьким пузырьком. Жили они около Исаакиевского собора, а дорабатывала она последние месяцы перед декретом в кафе на Невском. Откуда здесь и зачем?

— Шукшин умер.

Нереальность. Деформировалось пространство.

В рассказах Шукшина жила его, Валё Карпова, родня, братки, няни. Книг Василия Макаровича тогда невозможно было достать, и Валентина, родом из чувашской деревни, брала в библиотеках или у людей журнальные публикации, перепечатывала их на пишущей машинке. Шукшинские чудики были и её чувашской роднёй. Потом она переплела страницы: в их семье появился свой большой том произведений Василия Шукшина.

Шукшин умел придавать сил и веры в себя: провинциальный парень или девушка, пусть и ростом вышли, и собой пригожи, чувствуют себя в большом городе какими-то недоделанными, неотесанными. А в шукшинском мире этот какой-то не такой герой — самый такой! С выдумкой и жгучим вопросом в груди!

Второго октября тысяча девятьсот семьдесят четвертого года в Ленинграде, на Пионерской площади — прежде Семеновском плацу, где Достоевскому выносили смертный приговор, — так Валё и показалось: вырвали сердце у самой России, и теперь что-то будет не так и пойдет не туда.

На ранних Шукшинских чтениях, проводимых в день рождения Василия Макаровича, люди со сцены высказывались как бог на душу положит. Было кого послушать: Астафьев, Белов, Лихоносов, Распутин...

«И я, разумеется, стал писать. Иначе я не мог. Иначе у меня голова лопнет от напряжения», — говорил один из героев Шукшина. Примерно так и случилось с Валё после Шукшинских чтений: родня, соседи запросились на бумагу.

Ломанул жизнь, оставил свою работу, забросив в долгий ящик диплом театрального института, обрести который было делом непростым

— не видать бы ему синих корочек, да по всей жизни везло Карпову на встречи с участливыми и всегда при этом талантливыми людьми.

МАСТЕР

На экзамены к Корогодскому он отправился по случаю. Или по предзнаменованию судьбы.

Жена Валька проводила мужа на Бийском вокзале поступать в театральный институт. Из сегодняшнего дня — с ума сойти! Кому нужен такой муж?

Стояла на перроне, смуглая, в белом, с распущенными волосами и чёлкой, свисающей на глаз, — «восток» в её складных чертах присутствовал как бы намёком.

Дорога поездом была до Новосибирска, а дальше до Москвы — самолётом. Поймать билет в кассе на определённый рейс не представлялось возможным: брали без даты — «на посадку». Потолкаешься в очереди часов десять-сутки, и так счастливо потом подниматься по трапу, держа проездной документ с желанным штампом.

Самолёт был рейсом из Токио, с посадкой в Новосибирске. Поэтому в салоне бросались в глаза округлые, сплошь улыбочивые лица японцев. Валё робко присел на свободное кресло рядом с женщиной, имевшей черты восточные, но на японку не похожую. Отдалённо напомнила жену Вальку. Только лет на двадцать старше. И с печатью суровости на челе. Женщина держала в руках открытую книгу. Валё стрельнул взглядом — текст русский. Попутчица, как любая женщина, мгновенно почувствовала внимание. Показала обложку: «Бесы» Достоевского.

— С «Бесами» в небесах, — явила соседка юное озорство.

Полистала страницы с иллюстрациями: герои русского романа походили на японцев.

Попутчица Шаура Мусовна была ни много ни мало главным режиссером Башкирского национального театра. В Токио ей вручали награду за театральные успехи. Разговорились.

Достоевского Валё стал читать после того, как посмотрел фильмы «Братья Карамазовы»

и «Преступление и наказание». Во второй половине шестидесятых — начале семидесятых годов появился целый ряд экранизаций классики. Поздним числом особенно понятно, насколько всё было сделано прочно, всерьёз, в соразмерности с авторскими замыслами. Почва и судьба должна была дышать в актёре, чтобы так выразить страсть и стихию в образах Мити Карамазова или генерала Черноты, как воплотил их Михаил Ульянов. А Наташа Ростова-Купченко, Анатолий Курагин-Лановой, Андрей Болконский-Тихонов — так и живут поколения воплощенными героями Льва Толстого. При этом Тихонов внешне не похож на Болконского в романе. Но понимание духовного пути, личностная глубина и необыкновенный актёрский магнетизм делают экранный образ убедительным. Магнетизм актёра Вячеслава Тихонова так силен, что если бы он в известных семнадцати сериях не шпиона изображал, а просто ходил по полю, реке, занимаясь любимой им рыбалкой, даже по заводу со станками — смотрели бы ещё с большим интересом! О Сергее Юрском в «Золотом тельне» критики писали, что он не отличается красотой, как Остап Бендер в романе. Но с десятком появившихся потом великих комбинаторов — красавцев — не обладали заразительностью таланта Юрского. Актёр читал со сцены сельские рассказы Шукшина, будучи коренным ленинградцем, и это было в точку! Деревенский мужик в изображении артиста опускал натруженную руку в мех модельного сапожка — и не к сапожку, а к другому, прекрасному далёкому миру прикасалась его душа. И купил, и хотел подарить этот иной мир жене, да не по её крестьянской ноженьке сапожок шит! И смешно, и сердце щемит!

А разве можно забыть испепеляющий болезненный, как самое время Гражданской войны, взгляд генерала Хлудова — Владислава Дворжецкого — из фильма «Бег» по мотивам романа Булгакова?..

Об этом так славно и поговорили попутчики, слесарь-вальцовщик из Бийска и заслуженная артистка из Башкирии. Причём Тараторкина в роли Раскольниковы женщина раскритиковала — до иступления не дотягивает, вот Смоктуновский в роли Порфирия Петровича — гениален!

Оказалось, что Шаура Мусовна Муртазина, дочь известного башкирского революционера, родилась и выросла в Москве. В Башкирию, на родину предков, уехала после окончания института. В Москве оставалась старенькая мама. Шаура Мусовна предложила пожить новому знакомому, пока он сдаёт экзамены, в квартире у мамы.

Но посоветовала отправляться в Ленинград, где нынче набирал курс Зиновий Корогодский. У него своя система подготовки. Стала называть учеников Корогодского — тот же Тараторкин, Бедова, сыгравшая в «Преступлении» трепетную Сонечку Мармеладову, да и целый ряд молодых ярких известных имён — всё его ученики!

Площадь перед зданием и высокое крыльцо Ленинградского ТЮЗа, где проходило прослушивание абитуриентов — коллоквиум, — были заполнены молодыми людьми. Валё собирался на актёрское отделение, но Корогодский в этом году, как выяснилось, набирал режиссёрский курс. Подготовленным Карпов себя не чувствовал, но решил рискнуть.

Умные разговоры, группками, в полутонах: «Любимов», «Говстоногов» «Антигона», «В ожидании Годо»...

Всегда — и до, и после — находился знаток, который брал над Карповым шефство как над очевидным профаном. Чернявый парень из Ростова уверенно просветил: курс набирает еврей, в комиссии — евреи, а евреи всегда поддерживают своих...

Очередь шла медленно, позвали на собеседование ближе к вечеру, когда уже минули волнения.

Моложавый седеющий профессор внимательно просмотрел анкету, заполненную во время ожидания, сдёрнул резко очки и, чуть запрокинув голову, стал задавать вопросы. О родителях, жене, глянув на безымянный палец с кольцом. «В двадцать лет женат?» «А дети?» О Бийске. Получался просто разговор. И лишь один вопрос по профессии, как бы вдогонку, когда уже абитуриент поднимался уходить. Какой бы спектакль он поставил первым, став режиссёром детского театра? У Валё был заготовлен ответ, но без учёта слова — «детский».

— «Маленький принц», — ответил первое, что на ум пришло.

— Почему?

— Мы в ответе за тех, кого приручаем, — никак не блеснул Карпов оригинальностью.

Сказал, подумав о жене, которая оставалась в Бийске.

После кончины мамочки это чувство — хрупкости сущего — жило в нём с болью.

— Да?! — с немалым удивлением, будто ему открыли нечто важное, вскинул брови профессор.

Уже затемно вышел со списком абитуриентов молодой человек, движениями напоминавший Корогодского, только всё резче, угловатее, объявил прошедших на второй тур. Всего две фамилии. Одна из них — Карпов.

Второй тур был актёрский. Чтение басни, стихотворения, прозы. Он надеялся, что поступающим на «режиссуру» не надо будет петь — и другие не пели. Но преподаватель за столом попросил песню.

«Меж высоких. Хлебов. Затерялся. Не богатое. Наше. Село», — Валё спасался речитативом под сопровождение фортепиано.

— Вы не поёте, а рассказываете. Давайте вместе.

Профессор выбросил вперед руки, как бы помогая Карпову взять нужный звук, запел. Не очень голосисто, картавя, но точно в музыку. Валё вторил, обнаруживая мелодичность в голосе.

— *Го-оре горькое по-о свету шлялося...*

И на на-ас невзначай на-абрело...

На проигрыше Корогодский поднялся, скользящими рыбьими движениями обошёл стол за спинами членов комиссии.

— *Ох, беда приключилась страшная...*

Получалось у них слаженно и слезно:

— *Ка-ак у нас, голова-а...*

Оба затянули, протягивая друг другу левые руки, а правыми удадо взмахнув, будто наездники на санях.

— ... *Бесшабашная!*

И так они, профессор и абитуриент, оплакали и оставили вековать под плакучими ивами застрелившегося чужого человека.

— Почему такой выбор песни? У вас такое горькое мироощущение?

— Да нет, — пожал плечами Валё. — У нас люди на праздниках такие песни пели. Потом плясали.

Корогодский посмотрел внимательно и победно распротёр белые ладони:

— Зря вы думаете, что не умеете петь!

С тем Карпов и вышел из кабинета. А следом — тот же молодой человек на пружинистых ногах. Сделал движение рукой — ладонь вверх, — точно повторяющее жест Корогодского, только резче.

Режиссёры и педагоги из окружения Корогодского часто подражали ему во всём: сильная увлекающая личность.

— Зиновий Яковлевич предлагает вам, — он как бы вдавливал звуки, — пойти учиться к нему на второй актёрский курс. Если вы согласны, то вам нужно немедленно отправиться на общеобразовательные экзамены с курсом Поповой...

Ничего себе — «согласен» ли?! На актёрский — сто человек на место, а здесь — уже студент, второй курс!

Валё дал телеграмму жене и написал о поступлении Шауре Мусовне на адрес Национального театра в Уфе. Она в ответ поздравила телеграммой.

Через неделю вчерашний абитуриент уже был в деревне на сборе свеклы вместе с другими студентами второго актёрского курса профессора Корогодского. Хорошо помыли сорок шесть крупных плодов свеклы с длинной ботвой — по числу прожитых лет. Отправили с посыльным на день рождения Мастеру — так во всех театральных студиях именуют руководителя курса.

А вот учёба не задалась.

Тогда улицы Ленинграда и Москвы убирали в основном студенты. Устроился дворником и Валё. Денежки и своя комната в коммуналке старинного дома с атлантами при входе по пе-

реулку Ильича. Переулок шёл буквой «г»: если смотреть прямо с любой стороны, виделся тупик. Его и прозвали — «Тупик Ильича».

Учебное здание было совсем рядом — на Фонтанке. Удобно: подмёл, и к девяти — в студию. Но вставать приходилось рано, а занятия по системе Корогодского заканчивались — каждый день, без выходных — около часа ночи, лишь бы только ученики могли успеть на метро. Карпов, живя в Ленинграде, Ленинграда не видел. За исключением Эрмитажа и Русского музея, где проходили уроки изобразительного искусства — так было только для студентов Корогодского по его личной договорённости, все остальные — слушали лекции в аудиториях института.

В обыденном мнении считается, что выпивают крепко мужики в Сибири. Но в коммунальной квартире Ленинграда — города, который в сознании Валё был светочем культуры, колыбелью революции, — царила утробная, у кого-то втихую, а у какого-то всем скопом, — пьянка. Жила в коммуналке в основном «лимита» — приезжие люди, получившие временную прописку по лимиту ради работы. Всю ночь по коридору бродили полутени, порой стучались к студенту, то с большой любовью и объятьями, то, бывало, и с ножом. Жила и одинокая старушка-блокадница, юрк — в комнатку, юрк — в туалет. И всегда — виноватая улыбка. Валё вызвал у неё доверие, и она показала ему уложенные под кроватью банки тушёнки и пачки гречки, советуя сделать то же — мало ли...

Подметёт студент, уберёт пищевые отходы из бачков — около двери каждой квартиры в домах стояли такие бачки, куда выбрасывались остатки пищи. На улице располагался уже большой отдельный бак для объедков: это было правильно, по-хозяйски, как и в деревнях, где всё несъеденное за столом идёт на корм скоту.

А в студии — «стульчики ставим ровненьким полукругом», «копчик в уголок, спинка прямо, руки на колени». Абсолютное общее воодушевление, нескончаемая радость и свет во взорах.

Каждый день он получал от Вальки, жены, письмо. Всегда пухлое, с описанием того, что она делала, куда ходила, как поживает родня. Если день письма не было, то в следующий

день приходило два, а то и три послания. Это и поддерживало. Но и тянуло в ту — в его — жизнь, а эта, знать, не по нему!

Перед женой он слабость выказывать не хотел, а Шауре Мусовне писал, что сокурсники, в основном ленинградцы, живут в городе, где «счастливые лица», «дождь на Фонтанке и дождь на Неве». А он — в «каменном мешке» Достоевского.

Он никак не мог уехать в душе своей с Алтая, из непростого своего прошлого, где мчался в берёзовую рощу неведомый, но такой родной буланый конь Мухорка — мамочку ли уносил? Его ли?..

В обиходе все звали Корогодского — Зиновия Яковлевича — «Зэ-Я».

На репетициях в театре Зэ-Я по обыкновению прохаживался между рядами партера и амфитеатра — и на сцене ровно в такт его движению актеры шли волной. Даже Тараторкин, длинный и прямой, как штырь, лауреат Государственной премии, игравший бунтаря Раскольникова, и то немножко содрогался, будто под пробежавшим электротоком.

Корогодский удалялся по длинному коридору театра, и встречные люди, казалось, прилипали к стенке. Шёл он всегда стремительно, легкой походкой. Длинноватые, чуть волнистые волосы откидывались назад, словно под потоком встречного ветра.

Хотя был он невысок и немного кривоног. Но — тренаж во всём, которого он требовал от себя и добивался от других! А главное, абсолютная целеустремлённость и вера в служение общему делу, так свойственная поколению двадцатых годов, не сломленному даже страшной войной.

И если спросить его в любой миг про новые замыслы спектаклей, личные дела артистов или о качестве бумаги в зрительском туалете, он ответил бы с безукоризненным знанием. Поэтому и нёс себя уверенно, гордо.

Валё нравилось походка Зэ-Я, но беда в том, что, встречая его, ему тоже на миг хотелось стать стенкой.

Ему?! Выросшему на улицах окраины Бийска и киргизской столицы Фрунзе — с поселениями уйгуров, чеченцев, балкарцев! Всегда везде

находились парни, стремившиеся «нагнуть», — у него фаланги пальцев переломаны!

Зиновий Яковлевич никогда ни на кого не кричал. Даже не повышал голос. Интеллигентный человек, мягкий, несколько танцевальный в движениях. Но при этом, лишь немножко изменившись в лице и посмотрев заострённо, мог сказать: «Не вынимайте дерьма изо рта». Или, лукаво глянув поверх очков, как принято изображать старых евреев в кино: «Не жидовствуйте».

Это ни разу не относилось к Валё. И всегда — в корне! — было верным. Но так уж устроен был Карпов со своим родовым воспитанием, что всё равно примерял его слова на себя. Люди-то — смирялись!

Шаура Мусовна отвечала ему, что такова профессия режиссёра. Скульптор ваяет из камня или глины, художник имеет дело с красками, писатель — с воображаемыми образами. А «материал» режиссёра — живые люди. И если говорить о ней, то её актёры — башкиры. Башкорт — волчья голова. Поэтому, как и Зиновий Яковлевич, вне репетиционного зала — одна, хотя тоже не расслабляется, а на репетиции — просто вожак волчьей стаи.

Валё было удивительно: ведь она «главный», как и Корогодский в своём театре, а с ним как равная, друг.

Понимал: сидеть сиднем в этом полукруге на стуле копчиком в углу, спина в струнку нельзя!

Однажды решился, как ему думалось, всех позабавить.

Приехали поляки, театральные педагоги, перенимать опыт студийцев Корогодского. Понятно, с какой приподнятостью, феерической радостью проходил показ номеров — «сюрпризов», как это называли в студии. Изображали цирк, эстраду — именно изображали, а не были цирком или эстрадой.

Валё притащил из дворницкой замызганный халат, взял метлу. Стихов он не писал, но по такому случаю сочинил. И представил свой «сюрприз»:

*Я — не актёр!
Не кинопродюсер!
Я человек, убирающий мусор!*

Сделал движение метлой, наклонился, как бы поднял что-то. В руке был заготовленный окурочок папиросы. Затянулся — хотя никогда в жизни не курил, — и затушил заметно искрящийся окурочок о тыльную сторону ладони. Пошёл запах живого горелого тела.

Растерянные улыбки потекли по лицам зрителей. Второй педагог, Михаил Григорьевич Шмойлов, с испугом покосился на Корогодского. Что он увидел сбоку — неясно. А Валё с удивлением видел пляшущие всполохи в глазах Мастера при жёстко сомкнутых губах: «Ну полный идиот!»

— Актёр должен сымитировать боль, дать представление о запахе, а не сжигать себя, — говорил Карпову потом добрый Шмойлов. — А то вы так и гранату в зал бросите!..

Он также был учеником и тоже во всём подражал Зэ-Я, только у него движения получались замедленные, водянистые.

— Вам нужно зайти в деканат, — вдруг сказал Корогодский на ближайшем занятии. Бросил мимоходом — и дальше.

Мастер любил недосказанность.

Ну, видно, приплыли: за полгода учёбы ничем себя Карпов, кроме внутреннего тупого сопротивления, не выявил.

Деканом театрального факультета был Сергей Васильевич Гиппиус, родной племянник поэтессы Серебряного века Зинаиды Гиппиус.

С худым лицом, на котором, казалось, виделись все очертания костной структуры, с неподвижным взглядом из-под толстых стёкол роговых очков.

Он молча протянул конверт.

Из Башкирии.

Некто Гаюпов предостерегал руководство Ленинградского театрального института о том, что в ряды его затесался враг. А именно — студент Карпов, якобы состоящий в группировке Шауры Мусовны Муртазиной, уличённой в распространении националистических идей и националистической литературы.

Этого Гаюпова Валё встретил в квартире мамы Шауры Мусовны. Маленький человечек с перекошенными плечами, тихий, улыбающийся постоянно. Он тоже был режиссёр из Башкирии, только не главный.

Шаура Мусовна первым делом вытаскивала и рассматривала из большого тяжелого чемодана книги, напоминая кадры фильма «Ленин в Шушенском», когда Ильич, будучи в Сибири, получил ящик по ямщицкой почте и радовался: «Книжечки! Книжечки!..»

Классика в СССР издавалась многомиллионными тиражами, но читатель был таков, что ночами стоял в очередях, лишь бы заполучить книжечку. Поэтому ничего удивительного в том не было, что человек вез выпущенные в Советском Союзе книги из-за границы. Это как из Ленинграда Вале привёз банки тушёнки, которой в Бийске не водилось со времён его детства, а на этикетках значился: «Бийский мясоперерабатывающий завод!»

Женщина с движениями и повадками властительной кочевницы листала теперь перед Гаюповым том «Бесов» с красочными репродукциями. «Начала перечитывать — какой дар предвидения!»

Валё смотрел на неё зачарованно, думая, что через десятилетия жена его станет примерно такой — и что же? Она всё равно останется красивой!

Его притягивали — магнитили! — женские лица с восточными чертами. Он объяснял это для себя так: юность прошла в Киргизии, где любой рисунок женщины — в рекламе, на стене, плакате, картинах художников — всегда имел восточную характерность. У славянки были чуть более выпуклые скулы и удлинённые глаза, у киргизки — глаза более открытые и чуть овальнее скулы. Чувашки, татарки и башкирки как раз подходили под этот образ красоты, сложившийся в условиях Советской Азии.

Там, в Башкирии, режиссера Шауру наверняка окружали красавцы актёры. Но они были зависимы, как всегда чувствует зависимость актер рядом с режиссёром. Он был независим, и ей нравилось, что парень ведёт себя так, по-молодецки.

Она поила их с Гаюповым крепким чаем. Показывала старые фотографии, хранившиеся в альбоме хозяйки-мамы, где был портрет её отца — на коне, с саблей и в папахе с лентой поперёк лба. Один к одному фото его деда Степана, только скулы круче да глаза угловатее.

На стене висел малахай, дала его примерить Валё, и оба они с Гаюповым нашли его «чистейшим башкиром». Хоть завтра Салавата Юлаева играй!

Так все мило!

И вот теперь почти безвестный ему Гаюпов оповещал человечество о националистской группировке во главе с Муртазиной.

— Она же главный режиссёр! — воскликнул Валё. — И еще завкафедрой там у них!

— Я знаю Муртазину, — сухо сказал Гиппиус. — Уволена.

— Но она же башкирка!

— Вот товарищ и предупреждает, — указал Гиппиус на письмо, — что студент Карпов может посеять плевила башкирского национализма на берегах Невы.

Карпов сначала не понял, а потом расхохотался. Но смех разбился об утёс лица племянника загадочной поэтессы Серебряного века.

Позже, в девяностых годах, жизнь сведёт Карпова с драматургом из Башкирии, который прежде был «комитетчиком» и занимался тем театральным делом, да так увлёкся, что стал писать пьесы. Объяснил он бывшее просто: Муртазина пострадала в борьбе двух национальных кланов. Она не к месту побывала за границей, и у неё в кабинете нашли якобы привезённую запрещённую литературу. Они, сотрудники, всё понимали: Шаура была уважаемым человеком, с наградами и почестями! Единственно, чем могли помочь, — выпроводили с миром из республики.

— ...Что будем делать? — спросил заведующий кафедрой, жутко поглядев сквозь толстые стекла.

Карпов пожал плечами, протянув письмо обратно.

Сергей Васильевич взял, сложил пополам, тщательно порвал письмо и бросил в урну.

— Хорошо, что это мне передали, а не ректору.

Валё посчитал своим долгом написать Шауре Мусовне. Она чаем поила этого Гаюпова, постановку предлагала в театре...

Ответ от Муртазиной пришёл скоро: она прислала вырезку из газеты с рецензией на её спектакль о башкирском национальном герое

Салавате Юлаеве. Режиссёра обвиняли в пессимизме и национальной ограниченности.

Что такое «пессимизм», было ясно, а с «национальной ограниченностью» — вопрос. Шаура писала: «Если эти обвинения принимать всерьёз, то национально ограниченным надо признать Достоевского. Это он тревоги и нужды своего народа ставил в своих трудах превыше всего. Он же открыл в русском «всечеловека» и стал всечеловеческим писателем!

Спрашивала, прочитал ли он «Бесов».

Корогодский на занятиях вдруг заботливо спросил:

— Что будем делать с носом?

— Что с носом? — не понял Валё.

— Внешне — вы характерный актёр. — Слова с буквой «р» Мастер сопровождал особо усиленными жестами, чем напоминал французских актёров. — А по внутреннему содержанию вы — герой! — Он будто только заметил, что Карпов...

«...Думала, безносого родила, — умиленно говорила мамочка, — а такой панок вырос!» Панок — самая увесистая кость при игре в бабки. Из надкопытной части быка — в холодце её варят, счищают мясо, получается ценная вещь. Именно этой костью гонят бабки. Отсюда и пошло — «гони бабки», «бабки» — как деньги. Что делать, если у тебя панок?

— Каморный — красавец!

Зэ-Я привёл в пример актёра, сыгравшего десятки героических ролей в кино. На сцене Юрий Каморный вызывал всплеск восторга, только появившись. Стройный, ладный, с лицом, напоминающим образ чуть стекшей храмовой фрески, с любовью в оленьих глазах — он мог рвануть меха гармошки и лихо отчебучить частушки или под гитару спеть на английском — тогда знание иностранного языка было редкостью! Красавец, нет слов!

Но Валё куда под большим впечатлением был от актёра Театра Ленсовета — Леонида Дьячкова. Малоподвижный на сцене, бубнящий на одной ноте, самый обыкновенный внешне, он не играл — он был для зрителей Венькой Малышевым в спектакле «Жестокость» по Павлу Нилину. Зал цепенел, блестя в театральной полутьме от слез глаза. И уж казалось, ну какой

он Раскольников! Это после Тараторкина-то?! Но, посмотрев спектакль «Преступление и наказание», где Дьячков играл эту роль, Карпов несколько дней ловил себя на замедленных движениях Дьячкова и мысленно повторял его бухающим голосом: «Над всей этой дрожащей тварью...»

— Так даже интереснее: характерный, а герой. — Неожиданно для себя Валё нашёл ответ.

— Да?! — с большим детским удивлением, как это он умел, вскинул брови Зэ-Я.

После экзаменов первого полугодия были отчислены три студента за «профнепригодность»: не то чтобы они были заметно хуже других по актёрскому мастерству, но как-то приуныли, «тормознулись». С режиссёрского курса, куда поступал Валё, сами ушли двое, причём один, взяв академотпуск, отправился на два года в армию. «Система Корогодского» сама вела свой отбор.

Что было бы с Карповым? Но опять вмешался Гаюпов.

По весне пришло бдительное письмо теперь уже «куда следует». Шаура Муртазина к этому времени «потерялась» в Москве. И больше до конца дней эта талантливая женщина так и не имела доступа к профессиональному театру. (После её кончины в 2006 году на стене дома, где она жила в Уфе, была установлена мемориальная доска как признание её значительных дел.)

Из сегодняшнего дня видится не случайным, что искренние люди народа, прежде проявлявшего невероятный энтузиазм и активность, в семидесятые годы стали сторониться общественных дел, не торопились и в ряды КПСС. Так, Валё, которого настойчиво тогда звали в партию, внял совету писателя Василия Белова. «Я в армии вступил, — ответил Василий Иванович, — но Астафьев — не коммунист. Евтушенко — тоже не коммунист...»

Под тем же предлогом национализма и Василию Шукшину не дали снимать фильм «Я пришёл дать вам волю». Не просто запретили, а задёрнули: разрешат, как поклёвку, — мужик забегал, бросился в работу, а ему — «нельзя». «Образ народного бунтаря может

быть неверно истолкован и привести к национализму».

Боролись с ветряными мельницами, а в это время будущие крушители социалистического строя и советской страны уже работали секретарями обкомов партии и даже заведовали пропагандой в ЦК!

После «Бесов», которые Валё проглотил взахлёб ночами, к нему привязался образ Верховенского. И на встрече «с ответственными товарищами» он иезуитствовал, чувствуя себя героем Достоевского. С ним беседовали два человека: один, перед ним, — добрый и внимательный. Второй, сбоку, — ехидный, с издёвками и усмешками. Этот второй говорил, сразу как-то втягивая слова узким длинным носом. И вдруг прочитал патетическое четверостишие. Карпов, полагая, что видно только тому, который перед ним, доброму, — изобразил этот звуковой пылесос, по возможности сплющив свой нос и выставив губы трубочкой. Но невольно вырвался и звук, точно копирующий ехидную интонацию. Первый смеялся от души!

«А медикаментов груды мы — в унитазах, кто не дурак», — большим знатоком определённого заведения выступал Владимир Высоцкий. У Карпова появилась возможность оценить всю глубину этих слов. Именно «не дурак», потому что дурак начинает доказывать, что он не дурак, ему — аминазин в четыре точки, неделю лежкой с температурой под сорок, потом две недели спит из угла в угол меж кроватями по пространству с решётками на окнах. И как новенький: никаких тебе либеральных или монархических идей!

Для более детального знакомства с подобными заведениями автору проще отослать любопытных к фильму «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана по одноимённому роману Кена Кизи. (Тот редкий случай, когда кино сильнее первоисточника.) Хотя читать роман всё равно надо: фильм — акцентирование, литературное произведение всегда шире.

«Излечили» от башкирского национализма Валё к июлю. Однокурсники уже сдали экзамены, в том числе по «мастерству». Он уехал домой, в Бийск, к жене, полагая, что отучился.

Жену встретил прямо на пути, около Пожарки,

— спускалась с горки. В юбочке короткой, похудевшая, в серьгах крупными кольцами — цыганская такая! Поднял на руки и понёс, она забила ногами и запросилась: «Лучше побежали!»

К новому учебному году приехал в Ленинград, явился в студию. Не были сданы экзамены за второй курс, а некоторые — и за первый.

И профессор Корогодский, Зиновий Яковлевич, принял его на третий курс!

И Карпов рванул! Теперь его несло на сценическую площадку. Он скоро играл на основной сцене в спектакле, состоящем из пятнадцати сказок народов Советского Союза — по числу республик. Вместе с одним из самых знаменитых на ту пору актёров страны Георгием Тараторкиным, высоким, с внутренним, словно сжатый вулкан в груди, темпераментом. Георгий возвышался мудрым змием и гипнотизировал неподвижным взглядом глубоко посаженных глаз в таджикской сказке, а Валё рвал страсти бунтарём холопом в белорусской. Таковы были условия театра Корогодского: никакой звёздности, играешь ты Гамлета, исполняешь букашек — в общих представлениях заняты все на равных!

В готовящемся дипломном спектакле по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» репетировал одну из основных ролей — деда Момуна, который и рассказал мальчику, живущему на таёжном кордоне, сказку о Рогатой Матери Оленихе. История о самоубийстве ребёнка под пером талантливого писателя обернулась поэтической легендой о мечте, заветах предков и всё стирающей реальности, если заветы попорны.

Образ насильно потерянной памяти Айтматов впоследствии ярко выразил в «Легенде о манкуртах». Тогда многие публицисты прилепили образ манкуртов к советским людям. Но сюжет о манкуртах писатель заимствовал в киргизском эпосе «Манас». Так оно было и есть: каждая эпоха и власть — официальная ли, подспудная — пытается видоизменить память: выражаясь компьютерным языком, «вложить свой чип».

Подготовил чтецкую работу — поэму «Медный всадник», — так ему лёг на душу убегающий от властной длани любящий Евгений.

— Вы полностью на стороне маленького человека, — заметил Корогодский. — Но есть еще и правда Медного всадника. Мы живём в городе, созданном Петром.

— Что маленькому человеку до этого? Парашу-то его смыло!..

— Да?.. — произнёс на этот раз Мастер раздумчиво, склонив голову набок и как бы приглядываясь.

И допустил к чтению перед публикой на малой сцене.

Корогодский не был режиссёром в обычном смысле — постановщиком спектаклей. Он был создателем театрального организма, который сам творил зрелищные действия.

Жестко удерживал строй и порядок в театре. Так, стоило актёрам расхолодиться, Зэ-Я устраивал свой спектакль.

(У автора есть рассказ «Ермолаев, встаньте по диагонали», написанный по впечатлению от одной из репетиций Корогодского. Режиссер предлагает актёру Ермолаеву встать на сцене по диагонали. Ермолаев не может найти диагональ. Тогда предлагается другому актёру показать Ермолаеву, где диагональ. Тот так же не может определиться с диагональю. Третьему, четвёртому, восьмому — никто не способен определиться с диагональю. При этом сцена в театре круглая, как манеж в цирке. А в круге, как известно, можно провести бесчисленное множество диагоналей. Режиссер сам выходит на сцену и, вскинув победно руки, показывает, где она, диагональ. И хотя это была ровно та же точка, где незадачливый Ермолаев и стоял изначально, актёр припрыгивает от радости, и вся труппа припрыгивает, и появляется так нужная слаженность, и лица светятся счастливым ясным светом, знакомым по праздничным демонстрациям времён светлой памяти Иосифа Виссарионовича.)

Профилактика заканчивалась, и Корогодский отпускал на волю и поддерживал фантазию актёров на сцене.

В репетициях спектакля по русским сказкам Валё повесил на ухо колокольчик — просто ходил да позванивал. Мастер, не гордый на похвалы, ставил Валё в пример артистам и студентам, мол, разные по характеру сказки стали

соединены сквозной линией — «колокольчиком Карпова».

И опять Карпов со своим колокольчиком мог зазвенеть не в ту степь.

«В Ленинграде-городе, у Пяти углов, получил по морде Сашка Соколов...» — пел Владимир Семёнович. У Пяти углов — на пересечении Загородного проспекта сразу с тремя улицами — стояли автоматы по разливу портвейна.

На четвёртом курсе в режиме занятий иногда стали появляться выходные: Валё с женой впервые побывали в Петергофе, Пушкине, в Комарово, на Финском заливе. Иногда с репетиций стали отпускать пораньше. Валё любил прогуляться по Загородному, дальше — по Владимирскому до Невского, где в кафе допоздна работала жена Валька.

Путь лежал через Пять углов.

Парной дух винного винограда распространялся здесь по близлежащим тротуарам, дороге — автомобилисты, проезжающие мимо, вполне могли схлопотать штраф от гаишников, проверь их на алкоголь. Выпивать спиртное в Советском Союзе позволительно было везде: в поездах, самолётах, на улице, в парках на скамеечке. Минус — запахи. Плюс — свобода и распахнутые души! Как важно бывает человеку излить душу первому встречному, с которым никогда больше не увидишься! Рассказал и как оставил свою печаль, пошёл с новыми чувствами. Никакие психотерапевты этого не заменят. В поездах дальнего следования, бывало, в общем застолье попутчики сближались на всю жизнь.

Страждущие в заведении винных автоматов проживали определённую церемонию: бросали по монетке в положенную прорезь тридцать четыре копейки, смотрели и ждали, когда жидкость с изумрудным оттенком наполнит часть гранёного стакана. Пятнадцать граней, по числу союзных республик! Одни потягивали здесь же, пристроившись к компании за круглым высоким столиком, другие выходили на улицу, где также люди стояли группками. Никто не пил «лишь бы выпить». Решались серьёзные вопросы — былой судьбы, истории, в которой тогда начали приоткрываться тайные

стороны, говорили о спорте — Москва «Спартак» или «Динамо» Киев? Мухаммед Али или Форман?..

Никто никуда не торопился: ну, опоздают, ну, уволят — предложат подать заявление, все же были гуманисты. Переждёт человек дорогу, а там целое воззвание объявлений о требующихся работниках. Только актёры — из близлежащих театров, повадившиеся сюда между репетициями, — пригубили и — пулей обратно, почмокивая для ощущения вкусового букета.

Позже один чужак на букву «М», заполучив власть, даст государственный указ вырубить по всем южным землям нашей страны виноградники — а это Крым, Краснодарский и Ставропольский край, все кавказские и среднеазиатские республики! Святое начинание — победить пьянство на Руси! Только вот заправка: пили-то у нас по всем весям водку или самогон, которые делают вовсе не из винограда! А если и вино, то — по Сибири — «плодовое-выгодное», как его называли, из дички! «По талонам — горькая, по талонам — сладкая! Что же ты наделала, голова с заплаткою?» — тешил себя наш неунывающий народ в очередях, называя их петлями. Диво то, что сам вершитель столь замечательного начинания, нобелевский лауреат, родился в виноградном крае и рос среди гроздьев, гирляндами свисающих с лоз! «Новое мышление», так сказать, под корень!

В СССР могла быть нехватка, неширокий ассортимент, но то, что делалось, — делалось на совесть. Кабы знать люду с гранёными стаканами у Пяти углов, сиянному вселенскими вопросами, что они почти последние из могикан, кто пользуется духмяный настоящий портвейн из того ещё, векового винограда!

Но ведь роптали! Чуть дальше по ходу, на углу Владимирского и Невского проспектов, завлекал аромат хорошего крепкого кофе. В кафе, прозванном «Сайгоном», можно было послушаться самых передовых идей о сладости западных свобод и образа жизни. В самом деле: почему нельзя произвести магнитофоны, которые привозились редкими туристами из-за границы и перепродавались втридорога? Или растворимый кофе в банках? Обитатели «Сайгона» таким безговали, но для народа!

Или джинсы эти вонючие? Почему нам только межконтинентальные ракеты по плечу?! Здесь конструировалась идеология будущей Перестройки. Велись и эстетские разговоры: Феллини или Бергман? Бродский или Пастернак?

У Пяти углов вопросы решались проще. Прямо у входа в заведение здоровенный мужик в заношенной форменке торгового флота прижимал к стене, придавив локтем горло, знакомого Валё по театру и узнаваемого по кино актёра: «Хиппи тут нам ещё не хватало! Американцев?!» — у актёра волосы с проседью чуть нависали на уши.

Мужик вдавливал локоть в кадык, а в матёром его кулаке был зажат намотанный на руку ремень с медной бляшкой.

Валё кинулся объяснить человеку, что это артист, полагая, слово «артист» всё объяснит и «флотский» распахнёт дружеские объятия.

«А-эх, артист!!!» — в следующий миг бляха пролетела в миллиметрах от глаз успешного уклониться Карпова. «Вы у меня, артисты...» — глаза мужика, накачанного, знать, всем возможным набором напитков, употреблённых с утра, сконцентрированно выражали одно: вот если всех этих хиппи и артистов истребить, она и наступит — правильная жизнь.

Метров пятнадцать Валё отскакивал, изгибаясь, как тореадор перед разъярённым быком. «Лучше нанести один удар и не пропустить ни одного, чем нанести десять и пропустить девять», — натаскивал на уклоны тренер Владимир Николаевич Колегов со стадиона «Алга» во Фрунзе. Стояла удивительная тишина: не слышно обычно шумных компаний, транспорта, и мужик, размахивая бляхой на ремне, наступал молча. И может статься, быть бы сечённой бедовой головушке лохматого студента — тоже хиппи, — да тренер Колегов, словно на уроке актёрского мастерства, вбивал подопечным в подсознание: «Шарик ртути движется от толчка носком правой ноги, перекачивается по голени в бедро, катится в плечо и по ослабленной, как плеть, руке влетает в крепко сжатый кулак».

И сразу же тишину рассёк крик: «Милиция!» Бабий визг, множашийся сиреной: «Ция-ция-ция!»

Корогодский отправил в отделение неутомимого в добрых делах Шмойлова. Театральный педагог, прижимая ладонь к сердцу, просил от имени Зиновия Яковлевича за «студента и актёра, занятого в новой постановке». В Театр юного зрителя детей водили все заботливые ленинградские родители. Стражи порядка называли главного режиссёра очень уважительно, будто участники театральной труппы, — Зэ-Я. Пошло в ход и то, что жена у студента беременна, а сам он приехал издалека, из Сибири. «Ломоносов?!» — похлопывали по плечу стражи порядка задержанного. Конечно, репетируйте, придём смотреть...

Художественный руководитель прославленного крупного театра имел при Советах общественно значимое положение. Не меньше, чем иной министр. Добрая помощь человеку неблагонадёжному могла обернуться против него. Что называется, только копни. Корогодскому было что терять — не только положение, а детище своё, которое так и называли в обиходе — Театр Корогодского. Он имел мужество брать на себя ответственность. Но при этом в личных отношениях, как часто сильные властные люди, был очень уязвим. Вскоре Карпову это довелось почувствовать.

Ученики Корогодского имели немалое преимущество в сравнении со студентами других актёрских курсов института. У них была своя гримёрка в театре с распределённым каждому местом. Рядом с гримёрками артистов. Они, что называется, варились внутри театра.

Собрался уходить из ТЮЗа Тараторкин. Учитель прилюдно, непривычно подыскивая очень деликатные нотки, заманивал его званием народного артиста. Георгий так же при всех ответил грудным своим голосом: «Обойдусь». Для вымуштрованных актёров театра это было нарушением правил, бунтом! «Что же, пожелаем Юре успехов, — нелегко далась улыбка и благодушие Зиновию Яковлевичу. — Помни, что здесь твой дом».

Зэ-Я позвал Тараторкина в актёры из осветителей сцены. Потом принял в студию. Артистический взлёт был невероятным! Позже, работая в Москве, снимаясь в кино, Георгий Тараторкин продолжал быть успешным, вос-

требованным, но уже такой яркости — именно звёздности! — как в ленинградском ТЮЗе — не было.

Юрий Каморный, красавец, певун, танцор, исполнитель героических ролей в кино, становился в театре желанным гостем, не успевая перемещаться по съёмочным площадкам. По Ленинграду шла молва о лихих похождениях актёра и загульных скандалах, из которых Зэ-Я его методично вытаскивал.

Это были ведущие прославленные актёры. Неизвестный никому студент Карпов, едва сдавший хвосты к четвёртому курсу, внутри жизни театра тоже становился по-своему заметным.

На малой сцене «Пятого этажа» проходил студенческий спектакль по сценкам из музыкальных фильмов тридцатых годов. Весёлые бойкие пародии! Участие Карпова в них ограничивалось помощью в перестановке ширм, служащих декорацией. Зрителей было человек сто или больше — переполненный малый зал.

Мастер сидел посредине зала за режиссерским столиком. К этому времени он отпустил бороду, которая ровно и выразительно обрамляла его ярко выраженные семитские черты. Движения в соответствии с образом стали более размеренными, к дужкам очков была прикреплена элегантно спадающая на плечи тесёмочка.

Ребята отыграли очередную миниатюру, изображая приподнятый дух раннего кино. Валё передвинул ширмы, стараясь быть незамеченным.

— Жену свою выглядываете, Карпов? — строго произнёс во всеулышание Зэ-Я, прервав театральное действие.

Вопрос не требовал ответа. Нужно было выждать паузу и тихо продолжить выполнять задачу.

Но на глазах своей женщины Карпов не мог, что называется, смолчать в тряпочку.

— Да, посмотрел на свою жену, — твёрдо вышел на середину сцены Валё.

Это примерно так же, как если бы посреди спектакля вышел рабочий сцены и обратился к залу. Для любого театра — из ряда вон. Для театра Корогодского — светопреставление!

— Продолжайте спектакль, — сказал ровным голосом Зэ-Я.

За кулисами-ширмами сокурсники показывали Валё пальцем у виска, стучали себе по лбу.

Мастер не остался подводить итоги спектаклю, как делал это обычно, — поручил педагогу Шмойлову.

— Вы знаете, у Зиновия Яковлевича есть формула: «Актёры не болеют», — обращался он к студентам в полукруге. — Карпов не болеет, но у него есть одна серьёзная проблема. Он человек, с которым всегда что-то происходит. В этом смысле он мне напоминает Юру Каморного.

Карпова опять соотносили с Каморным.

— Но Каморный — красавец. Понимаете, о чём я говорю? — посмотрел заботливо педагог на Валё.

Чего ж тут не понять? Красивому артисту многое простится. Увы, до поры. «Дураку помочь нельзя», — скоро облетят театральный мир слова Зиновия Яковлевича. Каморный оставит театр, выбрав кино и концерты. И в очередную выходку яркий, героического склада актёр будет убит милиционером из табельного оружия. С артистами это случалось не единожды, когда сценические события и поступки они переносили в свою жизнь. Внутренне мощный актёр Леонид Дьячков, как и его герой Венька Малышев, в годы социальных перемен и крушения былых идеалов покончит жизнь самоубийством.

Урок мастерства актёра Зиновий Яковлевич начал с того, что с ходу, будто продолжал начатый диалог, выговорил Карпову:

— Ваша жена мне писала, когда вас не было. Просила, чтобы я вас принял. И я вас принял! — Через паузу добавил утвердительно. — И вы знаете об этом!

Что называется, мозги застопорило: он впервые слышал, чтобы его жена писала Корогодскому! Валька никак не была скрытным человеком — и что, написав, ничего не сказала? Писала, выходит, из Бийска: больше двух лет назад?!

Не терпелось скорее спросить Валуху: они снимали квартиру возле Московского вокзала.

— Да, писала, — ответила жена.

— А почему ничего не сказала?

— Чего говорить-то? Написала, и всё.

— А что писала?

— Чтобы принял тебя учиться.

— И так прямо на театр, что ли, послала?

— Зачем, я адрес узнала в адресном столе.

Теперь всё объяснялось иначе.

Он приехал тогда к первому сентября, пришёл в студию, и Михаил Григорьевич Шмойлов посоветовал ему: «Зиновий Яковлевич сейчас отдыхает с семьёй в Пярну. Езжайте к нему, просите».

В Пярну Карпов шёл сам не свой, как не свои были улочки с тянувшимися к небу домиками и крышами, будто наконечники копий.

— Откуда? — удивился Зэ-Я, скинув на грудь очки на тесёмочке. Тепло и даже обрадованно.

Жена его, Лия Даниловна, домашняя, с плавными движениями и мягкими округлыми чертами лица, усадила нежданного гостя за стол, стала потчевать. Заботливо, как родного.

Она, конечно, была посвящена. И умилилась: в ту пору жёны чаще писали «на службу жалобы», а тут, в письме из Сибири, юная женщина просила, чтобы её мужа приняли учиться!

И сын Данила вышел поприветствовать, улыбаясь. Похож — на отца со лба, округлыми щеками — в маму.

Они гуляли втроем вдоль моря, на каждый третий шаг — по заданию Мастера, везде продолжающего обучение, — выбрасывая вперёд ногу. Чтобы в лад.

— Я здесь буду еще две недели, — напутствовал Корогодский, — постарайся за этот срок сдать хвосты! Зачётку ты, надеюсь, не потерял? — всегда обращающийся на «вы», здесь он по-родственному говорил «ты».

И совсем уж у калитки добавил:

— В Бийске у вас с женой ведь домик? А разве нельзя сдать его и снять в Ленинграде комнату? Молодой женщине нельзя жить отдельно от мужа.

Поздним числом стало ясно, почему Зэ-Я повёл речь о его жене, семье: впустил в свой мир!

Когда Валька пришла на спектакль, он должен был её представить Мастеру, принявшему

в их жизни участие. Должен был это сделать еще раньше, когда она приехала в Ленинград. Но, выходяло, Карпов ему в родственности отказал.

Можно было позже пойти, объясниться, но... Дураку помочь нельзя.

Письмо от Карповой Валентины в архивах Корогодского наверняка сохранилось.

В отличие от пухлых писем, отправленных мужу. С особым, не спутаешь, штемпелем — отпечатком смачных тюркских губ, намазанных помадой, которая в обычной жизни ей была не нужна.

Девочки с курса — а это были студентки театрального! — говорили:

— Какая красивая у тебя жена!

Никак Валё не предполагал, что за его спиной разыгралась такая драматургия. Считал себя молодцом, а Валюха не хотела мужа в этом разуверять!

Годы спустя, когда Карпов на страницах интернета мог впервые ознакомиться с биографией своего театрального учителя, совсем иначе объяснилось его поступление на курс Корогодского и последующие студийные годы.

Валё не был евреем, которому, как сказывают, помогут соплеменники.

Да Корогодский был сибиряком. Родился в Томске, некогда уездном центре, в который входил и Бийск. По воспоминаниям: любил бывать в цирке и православном храме, расположенными рядом с домом, где прошло раннее детство.

Подростком и юношей учился в авиационном техникуме в Новосибирске, самом крупном городе Сибири, где Зиновию довелось познакомиться с эвакуированными во время войны из Ленинграда студентами театрального института.

Значительную часть детства жил в Прокопьевске. Это город, примерно равный Бийску по населению, тоже Алтай, хотя и принадлежит Кемеровской области. Только в отличие от чистого Бийска с просторным Заречьем — шахтёрский город, со слоем сажи на домах. Когда Валё приезжал в Прокопьевск к перебравшимся за шахтёрским рублием родственникам, то

сначала недоумевал — отчего у мужчин подведенные ресницы? Потом объяснили: въевшаяся угольная пыль, шахтёры. Бараки, общежития, балки. Съехавшийся из разных мест люд.

Каково приходилось некрупному, без больших кулаков мальчику на улочках шахтёрского города? Национальность в счёт не шла: Валё только взрослым осознал, что в их округе были и украинцы, и евреи, и татары. Мальчишки различия не знали. Соседи взрослые — также. Само слово «еврей» он слышал лишь из уст мамочки — покупая одежду, она любила повторить слова старого еврея, с которым некогда работала в столовой: «Я не столь богатый человек, чтобы покупать дешёвые вещи». Да тётка Анна говаривала: «Где хохол прошёл, еврею делать нечего». Кулацкая дочь шила из принесённых с фабрики меховых отходов шапки, знать, была своя конкуренция.

Валё припомнил из детства парнишку с соседней улицы, который смахивал на маленького Зэ-Я с фото на биографии. Худенький, щуплый. Но скажет как подрежет. С таким связываться опасно: быть осмеянным — ещё хуже, чем побитым. Такой и становился лидером.

Учился Зиновий в школе рабочей молодёжи. Во времена детства Карпова — «ШэРээМ» — полный отстой, туда шли те, кого уж отовсюду выгнали. Но в предвоенные и военные годы, когда учился Корогодский, — действительно, школа работающей молодёжи.

Трудно представить режиссёра Корогодского с его предельно ухоженными руками работающим на патронном заводе, но биография и его воспоминания сообщали, что это было.

Легкого в движениях, с жестиком танцора с кастаньетами, Корогодского сложно соотнести с человеком крепкой крестьянской поступи Шукшиным. Антиподы, на первый взгляд.

А при том — в масштабах страны — земляки. Того и другого мать родила очень молодой, в пределах восемнадцати, отцу Шукшина было вообще шестнадцать. Оба росли без отцов — у Шукшина в двадцать лет отец попал под репрессии, а отчим погиб на войне. У Корогодского папа, юный, как и мама, просто убежал по своим мальчишеским делам.

Шукшин приехал поступать в Институт киноматографии в сапогах.

Корогодский в Театральный институт пришёл поступать холодной зимой сорок пятого в пимах. В Сибири не говорили «валенки» — пимы. Отец Валё — Степаныч — подшивал пимы дратвой, накладывая два-три слоя войлока, вырезанного из голенищ старых пимов. На экзамене, в пимах, Зиновий изображал наездника — тоже, знать, вырос с лошадкой — лошадки тогда по Сибири были везде.

Оба с мужичким оглядом, поступили параллельно в другие вузы: один — в Московский историко-архивный, другой — в Ленинградский оптико-механический.

Заметим, что и Карпов, поступая в театральный, сходил и в Ленинградский горный институт, чтобы не возвращаться ни с чем. Оплочал бы, не принял бы его Зэ-Я — была бы иная судьба!

Профессор Корогодский тоже, видно, узнал в абитуриенте Карпове парнишку из своего детства: Валё не был единственным среди поступающих, кто приехал из Сибири или даже с Алтая. Но землячество в нём дышало приметнее. На улице в детстве с таким было надёжно.

В одном из последних интервью седобородый Зиновий Корогодский на вопрос о корнях выразился предельно кратко и ёмко:

— Я — сибиряк.

Знал бы раньше Валё, что недостижимый Зэ-Я тоже был маленько «с Кажы!».

Карпову мешало и подавляло ощущение зависимости в театре Корогодского — всё центровал он один! И только столкнувшись позже с другими театрами, обнаружилось, что актёром могут помыкать и директор, и администратор, костюмер и бутафор — они же материально ответственные люди! А кто такой актёр: ходить по сцене и говорить чужой текст много ума не надо! Да и у режиссёра иного при сбитой администрации, как говорится, номер восемь.

Люди с талантом или проклятием лицедейства всё стерпят, лишь бы иметь возможность быть на сцене, играть, перевоплощаться и стоять на поклоне перед рукоплещущим зрителем в лучах софитов.

Вальку надо было в театр Корогодского — звездой была бы!

Одну коммуналку, где они жили, возле Октябрьского зала, обворовали, и хозяин, подзревая студента с чернявой женой, их выгнал. В другую, около Исаакиевского собора, жильцы молодую пару не пустили поздним вечером, запершись изнутри на задвижку. Хотя Валька, умелая, как все деревенские чувашки, им носки связала в подарок и собачонку подкармливала. Была она уже на девятом месяце беременности. И такое простое замечательное решение пришло на ум: поехать домой, в Бийск, ребёнок родится в своём доме, рядом с родными, которые всегда помогут и будут рады!

«ЛИШЬ БЫ ТЫ ПРОДВИГАЛСЯ ПО СЛУЖБЕ...»

Устроился Валё, оставив актёрское ремесло, в газету — подметать и убирать снег возле здания «Челябинского рабочего». По его просьбе завхоз заказал ему широченную лопату, к десяти он уже был свободен и успевал к открытию публичной библиотеки, которую покидал с закрытием. Читал обязательные намеченные книги и писал своё. Молодая жена, в полном понимании мужа-дворника, хлесталась одна с двумя, да еще и зарабатывала основной хлеб для семьи.

У читающего племени, видно, была нехватка ушедшего шукшинского голоса с его героями, так похожими на реальную родню Валё. Едва сложившиеся рассказы Карпова сразу были опубликованы в журнале «Наш современник», тираж которого в те годы был на уровне количества подписчиков популярных ныне интернет-сайтов. Причем пользователей было больше: экземпляры журналов передавались из рук в руки, а в библиотеках зачитывали до износа.

Два крупных столичных издательства предложили начинающему автору договоры, что называется, под чернильницу, ибо у него ещё не хватало готового материала даже на одну книгу.

— Братка, а ты почему написал, что у меня нос красный?! — узнавал себя в рассказе братка Сеня.

— Братка, а ты почему решил, что это про тебя? Ты сидел когда-нибудь за одним столом с Женькой Багаевым?

— И правда, братка, — недоуменно открывал для себя чудо литературы сродный брат, — а его знать-то больше понаслышке знаю!

— И потом, братка, а какой у тебя нос?

— Да я ничё, братчик, ничё. Пиши о нас чё хочешь: ЛИШЬ БЫ ТЫ ПРОДВИГАЛСЯ ПО СЛУЖБЕ.

Кем был писатель в те советские времена? Так как социальный статус Карпова изменился буквально в течение месяца, он это хорошо прочувствовал.

Два года Валё с женой стояли в очереди на садик для детей. Регулярно приходили на переключки, которые происходили у крыльца райисполкома. Чинная, как с Доски почёта, сотрудница исполкома объявляла фамилии, произнося слова немного с прибалтийским, как-то особо располагающим выговором, — человек в толпе откликнулся. Не явился раз — вылетал из очереди. Женщина делала пересчёт, величаво поводила головой, чуть запрокидывая уложенные пышной булочкой выбеленные волосы, и называла новую очередность. «Рива Симеоновна!.. Рива Симеоновна, а когда... когда?!» — доносились подобострастные голоса из толпы. «Согласно очереди».

Наступило время, когда фамилия «Карпов» значилась в числе первых, и счастливый родитель должен был пожаловать на личный приём к сотруднице исполкома, заведовавшей очередностью в детские сады.

Валё воодушевлённо вошёл в нужный кабинет, сел, как положено, к столу напротив красивой благообразной женщины с пышным белым тортом причёски на голове. Назвал фамилию, ожидая, что вот сейчас наконец-то получит жетончик с желанным направлением.

— Ничем не могу помочь, — женщина развела руками, выказывая крупные золотые кольца на ухоженных пальцах. — Тетрадь с очередью утеряна.

На красивом гладком лице белёной дамы играла легкая улыбка. Ну что, в самом деле, она сделает, когда утеряна тетрадь?!

— Как это — утеряна?

— Записывайтесь заново. Вот новая тетрадь.

Сотрудница исполкома заботливо приоткрыла обложку — и на свежем листке уже значился ряд фамилий. Валё приподнял от записей взгляд. Да не шутят ли с ним?.. Но понял лишь, что дама ему напоминала известную прибалтийскую актрису. И она знала об этой схожести, удерживая голову чуть набок, как на тиражированных фото актрисы.

— Как записываться?! Я два года сюда ходил, два года ждали, а теперь что, ещё два года ждать, а там снова тетрадь потеряется?!

— Ну, как хотите.

Дама вдруг сняла трубку телефона и пухленьким пальцем с ровно положенным маникюром на ноготках стала крутить колёсико над циферками в проёмах, набирая номер. Валё наблюдал, удивляясь, как ногти не царапают пластик аппарата.

Пошли длинные гудки.

Валё также протянул свой указательный палец, пытаясь копировать движение сотрудницы, и нажал на пипочку, куда кладется трубка телефона. Гудки прекратились.

— Нет, сначала вы поговорите со мной.

Женщина совершенно ошарашенно несколько мгновений молчала, затрясла трубкой и — куда подевалось благообразие — стала её поднимать, готовая ударить.

— Ты что себе позволяешь?! Я сейчас милицию... — она оскалилась, теряя всю свою плакатную картинность, отчего во рту блеснула золотая фикса.

Но осеклась, понимая, что по телефону милицию не вызовешь, патлатый этот держит кнопку. (Охраны тогда в подобных учреждениях не было.) Да оно и шум поднимать — нужно ли?

— Через два года мои дети уж вырастут! — потряс руками и Валё.

И вдруг женщина снова вмиг стала высоким должностным лицом. Более того, с заметным высокомерием усмехнулась.

— Ты приходил с одним ребёнком, — проговорила, глядя прямо в глаза, — а теперь у тебя уже двое! Где вам мест напасть, если вы так плодитесь!

Это было какое-то откровение, к которому Валё не был готов. Выходило, что она его хорошо помнила. Но в чём же он виноват, что родился второй ребёнок?

— Говорю же, тетрадь исчезла. Такие же пришли и спёрли, — говорила она теперь резко. — Хочешь — записывайся, — кивнула на новую тетрадь, — не хочешь — проваливай отсюда.

Что делать? В садик-то детей нужно устраивать!

Он открыл тетрадь и вписал свою фамилию. Пошёл.

И только уже выйдя на крыльцо, вдруг понял — расшифровал это «вы плодитесь»! Кто это — «вы»? Инфузории-туфельки? Насекомые? Именно так выбеленная дама на него и смотрела — как на них — этих, которых бесчисленное множество! Русские! Простолюдины!! Русские простолюдины!!! Простолюдины есть в любом народе, но иные хотя бы сообразят, что к чему, как подойти и кого задобрить, а эти, русские, так и будут толпиться, путаться в очередях да еще настаивать на каких-то своих правах. Садика им подавай!

За жизнь он уже не раз наталкивался на это отношение — свысока, с небрежением.

Валё развернулся, вошёл без стука в нужный кабинет, выбеленная чиновница принимала нового посетителя, при этом разговаривая по телефону.

Он схватил тетрадь, потянулся вырвать листок, на котором записал свою фамилию, но там же значились и иные очередники. Жирно зачеркнул свою фамилию, хлопнул тетрадь о стол и резко вышел, успев услышать:

— Вот с такими придется работать...

Кому что доказал?!

С ним всё это уже бывало: словно накатывалась мчащаяся с горы неостановимая телега, подминала, закручивала.

Конь Мухорка ждал его за углом, он вскакивал и мчался в рощу, куда когда-то ускакала от комиссаров мамочка. И становилось легче, хотя вместо коня ехал он на трамвае, к жене и детям, без надежды устроить их в садик.

А скоро свершилась советская сказка! Валё пригласили на совещание молодых писателей,

где фамилия его звучала в числе первых, любимые писатели — Василий Белов и Виктор Астафьев — рекомендовали в члены СП СССР.

Карпов не был коммунистом, но, вернувшись с совещания, был зван в Челябинский обком партии, куда пришло обращение за личной подписью Сергея Михалкова. Третий секретарь обкома гордо потрясал письмом детского поэта и автора гимна как громадной свалившейся ему наградой. Молодому нуждающемуся писателю были предложены на выбор варианты трёхкомнатных квартир в разных районах города. Причём письмо гарантировало перечисление денег за стоимость жилья из Литературного фонда СССР.

Ордер на квартиру выдавала та же выбеленная породистая дама, и уж что с ней творилось — дощатое лицо, сомкнутые, казалось, до скрежета зубы. И тряслись в руках документы с печатями, подписями таких товарищей, что лучше такие бумаги не терять.

Из рядов комсомола Карпов был исключён, что называется, с треском, но это не помешало главной комсомольской организации страны вручить Всесоюзную премию ЦК ВЛКСМ «За лучшую книгу молодого автора».

Звонок от инструктора ЦК решил вопрос с садиком.

Привыкшая куражиться и властвовать над зависимыми людьми выбеленная дама в золоте просто не в силах понять, что происходит, как в наказание, опять выдавала направление детям этого плодящегося не по её закону Карпова — да ещё в детский сад около центральной площади Челябинска.

Рива Симеоновна согласно выговору в речи и внешности имела какое-то отношение к советским прибалтийским народам. По имени и молве — была еврейкой. Поэтому автор чувствует необходимость сделать оговорку: без национальных обид, господа, — как оно было, так и написал. Не обижаются же русские, что малоросс Гоголь сделал Чичикова русским. А назови он своего героя, скажем, украинцем — сколько бы копий полетело в Николая Васильевича! А если — страшно сказать — евреем?..

У парадного подъезда с высоким крыльцом толпились родители, ждавшие переключку оче-

реди на место в садик. Тётка эта выйдет, козырем стоять будет — сотрудник исполнительной власти — душонки-то живые вот они, тёпленькие...

Маленько жулькнула сердце неловкость, что проскочил, — да ведь своё честно отстоял, два года.

Очередь и дефицит — болящие душащие узелки на теле советской жизни. Собирались большие урожаи, а магазинные полки пустели. Полки пустели, а холодильники у людей были полны. «Из-под полы», «с черного хода» — обычные понятия тех лет. Сталевар получал большие деньги, часто больше директора завода, но оба они или, скорее, их жёны шли на поклон к завскладом с зарплатой в десять раз меньшей, но упакованному по полной. В армии корневым чином становился интендант. Выгодней было — чтоб не было! В девяностые приватизировались или просто разграблялись и распродавались склады с товарами и продуктами, маркированные шестидесятью годами изготовления!

Из сегодняшнего дня выглядит невероятно: если где-то вместе оказывались директор завода, высокий чиновник и писатель, то наибольшие знаки внимания и почести оказывались писателю. На гонорар от книги, выпущенной массовым тиражом и объемом примерно с «Анну Каренину», можно было сразу приобрести кооперативную квартиру, новый автомобиль и дачу! Литературные произведения писались кропотливо, выверенно — сначала от руки ручкой, потом перепечатывались на машинке. Если раскинуть гонорар на затраченное время, получалась хорошая зарплата инженера. Книги переиздавались, материалы накапливались, и с годами писатель становился по советским меркам человеком весьма обеспеченным. При этом на издания не выделялось никаких дотаций: общественные приоритеты были расставлены так, что в шестидесятые-семидесятые годы стало неприлично и стыдно не читать, не иметь в доме хотя бы маленькую библиотеку. В качестве мебели, говорящей о состоятельности хозяина, выпускались «стенки», куда встраивались полки для книг, которые требовалось

заполнить. Люди ночами стояли в очередях, чтобы получить подписку на собрания сочинений. Иной человек это делал из соображений престижа, но иной, открыв полученную «в боях» книгу, — зачитывался! Публикация в толстом литературном журнале делала автора известным: так, нашего Карпова, на ту пору автора четырёх опубликованных в «Нашем современнике» рассказов, пригласили в творческую поездку — писатели и артисты плыли на теплоходе по Енисею, останавливаясь для выступлений в крупных и небольших селениях. И в каждом зале клуба или библиотеки находились люди, читавшие эти рассказы.

Общественно значимый статус художественного слова был сталинским, говоря современным языком, мощным долгосрочным бизнес-проектом, в основе которого лежало искреннее пристрастие Иосифа Виссарионовича к литературе, некогда начинавшего как поэт. Издание книг приносило государству серьёзные прибыли. Литературный фонд, имевший свою копеечку, стал одной из богатейших организаций страны, способной строить и содержать целые писательские селения.

Со знаменитым «Переделкино» связаны действительно великие литературные имена, ныне здесь музеи — Чуковского, Леонова, Пастернака (некогда исключённого из Союза писателей, но не исключённого из Литфонда и продолжавшего творить в ведомственной писательской даче до конца дней своих).

Были еще Дома творчества — в Прибалтике, Причерноморье, в каждой союзной республике, где предоставлялись творческие мастерские на определённый срок.

Члену СП СССР и его детям выделялись льготные путёвки.

Карпов прибыл в Коктебель с сыном и дочерью. Им предоставили часть домика с отдельным входом и верандой, обвитыми столь пышной растительностью, что с аллеи, кроме зарослей, ничего не видно. И вся территория Дома творчества являла собой малолюдный оазис тени с редкими солнечными лучами, разбивающимися о ветви высоких деревьев. С утра до ночи здесь царил тихое умиротворённое предвечерье. Выходишь на набережную

— слепнешь от яростного небесного света, рассыпающегося в морских бликах. Люди снуют туда-сюда, валяются на пляже, бултыхаются в воде. Всё в природе, кажется, приплясывает, радость клокочет в груди — скорее в воду, в сине-сине море!

И вдруг навстречу — низкорослый, совершенно не загорелый, очень плотный человек. Знамение судьбы — Василий Иванович Белов.

Некогда Валё специально приезжал в Вологду, нашёл квартиру любимого писателя — благо, тогда адресные будки были на вокзалах, — и не посмел зайти. Постоял у двери на пятом этаже с папочкой, погулял по городу, напоминая родной Бийск, почему-то зашел на кладбище, где было много могил с надписью «Белов». Папочку отправил Василию Ивановичу уже из Челябинска, где тогда жил. Скоро из Вологды получил открытку: «Работайте со всей ответственностью перед народом и собственной совестью». А буквально через неделю-другую пришла телеграмма из столичного журнала: «Публикуем рассказы в следующем номере...» Телеграмму доставили среди ночи, будто понимая её важность. Новорожденный писатель с женой обнаружили нашествие клопов, которых, зная, привезли из ленинградских коммуналок, где повсюду этой твари видимо-невидимо. Здесь же спали маленькие дети. С каким воодушевлением и счастьем родители, передислоцируя детей, переворачивая кровати и матрасы, поливали полчища кровопийц кипятком!

Василий Белов — очень белый телом — в одно и то же время ежедневно пересекал пляж, купался и сразу же, не оставаясь загорать, шёл обратно. К письменному столу. Его провожали взглядами, как человека в ту пору очень известного, при этом почитаемого и в писательском кругу. (Слава массовая и признание внутри творческого цеха — далеко не одно и то же.) Кто-то подходил к Василию Ивановичу, именитый писатель отвечал рукопожатием, едва приостановившись, кивая и пряча взгляд, оберегая ту творящуюся внутри жизнь. Пожал руку и Карпову, которому дал путёвку в литературную жизнь, пробурчав на слова благодар-

ности, мол, да при чём здесь, я за тебя писал, что ли?

По пляжу ходил мускулистый, стриженный под горшок мужичок, напоминавший тем приказчика из девятнадцатого века. Предлагал сделать запись в его блокноте. Приблизился он в радости и к Карпову как к старому знакомому, протягивая блокнот на открытой чистой странице. Позже Карпов понял, что это был Валентин Курбатов, выдающийся литературный критик и публицист, который на любого писателя (а может, и человека) смотрел так, будто тот был для него ярчайшим открытием: из подобных записей впоследствии он составил книгу «Подорожник».

Требовалось поделиться впечатлениями о Коктебеле.

Господи! Молодой писатель так здесь и не прикоснулся к листам, выложенным на стол для задуманной большой работы. Наслаждался жизнью взахлеб! Делал заплывы, обученный Бией. И дети плавали наперегонки до буёв, обученные бассейном. Сын Егорка поражал немолодой интеллигентный люд на литературном пляже, деля с папиных рук в воду или подтягиваясь на турнике бесчисленное количество раз! Дочь Ирочка, как спадал зной, часами простаивала возле художников с этюдниками, пишущих портреты на заказ. Взяла карандаш, бумагу и стала выводить профили — вставай с профессионалами в ряд!

Наводила восторг сама мысль, что, рождённый где-то там, где о море много слышали, говорили и воспевали, но не бывали и не видали, он привёз сюда деток своих. Эх, видела бы мамочка! А братка Сеня, упокоившийся уже, знал бы, как его братчик «продвинулся по службе».

Справа нависала высокая скала Карадаг, словно отплывающее изваяние самого хозяина и хранителя здешних мест Максимилиана Волошина.

Слева, чуть вдали, виднелся высокий холм с ползущей тропинкой к могиле Волошина, похороненного по его завещанию на вершине.

Валё с детьми поднялся на холм вместе с молодым поэтом из Дагестана Магомедом Ахмедовым. Некогда Магомед прослыл вундеркиндом, получив признание в четырнадцать лет.

Был он рослый, крупный телом, а в низком его голосе слышалось горное эхо — зычный звук словно откликался другим, раскатистым.

Стоя у надгробной плиты на вершине, гулким этим своим голосом Магомед произнёс с горским акцентом:

— Хорошее место для последнего приюта выбрал Максимилиан.

Внизу распростиралась картина крымского Вечного покоя — ширь моря до горизонта, посёлок с маленькими отсюда домиками, гряды береговых холмов, Тихая бухта...

Дети стояли по струнке на умиление отцу. И мамочка, и братка Сеня, и дядя Яша со многой роднёй посмотрели на них с небес...

Магомед познакомил Карпова со Львом Ошаниным. Да, так вот запросто — с легендарным автором, слова из песен которого распевали в праздники и для души в родном краю. «Эх, встречай, да крепче обнимай...»

Лев Иванович был уже в летах — опять же, по счёту тех времен, — и полуслеп от роду. Каждый раз, встречая, он приближал глаза в роговых очках с толстенькими стёклами очень близко, а потом, рассмотрев и узнав, сиял в улыбке и поднимал в знак приветствия увесистую трость. Ошанин угостил молодых писателей настойкой на красном корне. Говорил, для мужчин очень полезно! Втроём они гуляли по набережной вечерами, и Лев Иванович — это заметил именно дагестанский поэт — при всём своём плохом зрении каким-то магнетическим чувством замечал красивых девушек. А если к нему подходила молодая поэтесса со знаками признательности, то прятал трость за спину или бросал в кусты, мигом приосанившись. «А я всё гляжу, глаз не отвожу», — смеялся горец Магомед, вспоминая строки популярной песни: Валё даже не подозревал, что её тоже написал автор «Эх, дороги...».

Ахмедов был воплощенной поэтической энциклопедией. С книгой или журналом он не расставался даже в жару на пляже. Стихи читал постоянно. Поэты обычно декламируют свои стихи, просто этим досаждают порой, особенно поэтессы (как-то Валё познакомился с китайской поэтессой, и та чуть не сутки напролет читала ему, проливая слёзы, стихи на китайском

языке). Магомед любил читать стихи друзей: «Я женщину в небо подбросил, и женщина в небе висит!..» Голос ухал, отзывался издали, и над заполненной народом вечерней набережной, над пляжем, над скалой Карадаг и над гладью моря — казалось, везде висят подброшенные женщины... Только подставляй руки!

Валё заполнил протянутый Курбатовым листок в блокноте какими-то восторженными словами, которые не смог бы воспроизвести: ни тогда, ни после. Полистал тетрадь и посмотрел иные записи: все они были столь же восторженные, восславляющие благодать Коктебеля и вдохновение, снизошедшее здесь.

И только одна запись выбивалась из строя. Старательно, будто в школьной тетради, было выведено: «Много в теле. Ничего в голове. Василий Белов». Карпов в те годы категорически с этим согласился. И, подгадывая под день рождения Шукшина, летел туда, где в голове для него было много: на Алтай. Передвигался по родне, и везде гулянка, а гулянка — это не застолье и не вечеринка. Гулянка от стола, дома, выкатывалась во двор, к собаке, к скотине, в огород и на улку — говорили именно так, «на улку». Кто-то, вытащив за уши из клетки, упустил кролика, все уже в сумерках шарили по грядкам, а вместо крола ловили за хвост соседскую нутрию!

В каждом доме, если зима, загодя заготовленные пельмени. Стряпают их мгновенно: достаточно сказать, что сестра Валё — Галя — работала в пельменном цехе и настряпывала за смену с напарницей восемьдесят килограммов: в каждый кулечек клали бумажки со своими фамилиями.

Было дело, Карпова угощал пельменями своей стряпни известный артист, мастер устного рассказа, земляк Михаил Евдокимов. Пельмени он ел и гостей так заставил — исключительно ложкой, чтобы не вытекал бульон. Ложкой пельмени с бульоном едят на Севере и в Восточной Сибири, где они крохотны: на Урале пельмени — с ухо, на Севере — с глазок, а на Алтае — как раз с роток.

Карповы ели пельмени вилкой, обмакивая в капустный рассол бочкового засола и часто даже откусывая краешек, чтобы зачерпнуть

рассол в нутро пельменя. Нигде и ни у кого Валерий не встречал такого рецепта.

Родственники и друзья детства мало рассуждали о политике или смысле жизни, зато в гулянку много говорили о самой жизни. Рыбалка, охота, урожай, хозяйство, а также события, удивившие или потрясшие округу. Только ухо востри!

— Валё! — кричал утром еще с постели после вечерних посиделок брат Вова. — Неси утюг.

— Зачем-е-м?

— Морду разглаживать буду!

Манило вернуться на родину, описывать всё это живое, горяченькое, как тянула родина Шукшина, да и многих покинувших её в поисках жизни с более высоким предназначением.

Но одно дело — жить на родине, не уезжая. Другое — второй раз в одну и ту же воду....

Виктор Петрович Астафьев вернулся после странствий в родные места, воспетые им! И что? Единое информационное пространство нового времени лишает людей былых отличий, где бы они ни жили и как бы этому ни сопротивлялись.

Валё довелось побывать у Виктора Петровича в Овсянке: она и родовая деревня, уже не совсем деревня, а дачное место, находящееся в тридцати километрах от крупного города — более деятельное население город всосал.

Пригласили тогда Карпова как писателя на литературные чтения. Но человек, очутившийся в электронных СМИ, становится частью своеобразной мясорубки, для которой бытие служит исходным сырьем. Помните, как в «Сладкой жизни» Феллини? Известного журналиста избивают, а его друг, вместо того чтобы броситься на помощь, начинает снимать, с жадностью щелкает фотоаппаратом. Всё в мясорубку, на фарш! Вот и он притащил с собой в деревенскую избу Виктора Петровича оператора с телекамерой. Вокруг дома Астафьева, когда прибыли, уже парочка телегрупп дислоцировалась, издали через забор выцеливали объективами камер.

Виктор Петрович, как увидел Валё с вооруженным сопровождением, так чуть не матом, как это он славно умел, мол, сам заходи, а этот

«глазок» даже не расчехляй, а то от ворот поворот.

Валё еще оглянулся на тех, кто с телекамерами — «глазками» — вёл свою охоту. Дал слово, что снимать не будем.

— Меня тут одни снимали, снимали, я им, как людям, рассказывал, рассказывал... А фильм вышел, гляжу, у меня вот сосед живет, пять судимостей, он у них главный рассказчик! Ну так и снимайте про него, чего Астафьева-то приплели...

Потом Виктор Петрович рвал лук, вытаскивал морковку с грядки — на угощение, для гостей, — и все не унимался:

— Вот я наклонился, а он не снимет, — указывал Петрович на оператора, — что я морковку, которую сам со своей Маней рашу, из земли пальцами выковыриваю. А вот что Астафьев вверх поплачком встал, это пока-ажет!

Астафьева охватывало, закручивало и выкручивало всё шибче (тут именно по-астафьевски хочется сказать) это чувство — неверия и отчаяния, даже какого-то мстительного отчаяния.

А у себя в избе с близкими людьми прорывался в нём эдакий разухабистый атаман ватажки:

— Мы в бараках жили по двадцать семей кряду! Но в бараках было чисто! — Яростно поднимал он народ к немедленному восстанию. — Занавески накрахмалены, половики простираны! На реке, с валиками! Уборная стояла: двенадцать дырок для женщин, восемь — для мужчин. Но в уборной было чисто! А сейчас... — Астафьев махал рукой, передавая картину ужаса и смрада, творившегося «сейчас».

И только тогда, словно расчистив место для доброй постройки, дав выплеснуться наболевшему, временному, повел важную для себя речь. Какой же это был рассказчик! И голос его то уходил ввысь, в придыхание, то скатывался на низа. Валё не первый раз застольничал с Астафьевым и был свидетелем, как устный текст почти один в один потом становился письменным: застолье для писателя было рабочим моментом.

Валё не знал Рубцова лично, но в изображении Виктора Петровича хорошо представлял, как стоит поэт в квартире Астафьевых, держа

рюмочку на весу, и, чуть накрываясь, отчего как бы случайно на дорогой ковер падают капельки коньяка. С длинного мокрого после дождя плаща его так же стекают капельки (Астафьев до-рисовывал картину еще и мимически). Требуется дополнить рюмку и снова роняет капли на ворсистый ковер этого сытого, обласканного лауреата государственных премий, который написал про какую-то госзаказовскую рыбу. Виктор Петрович не стыдился, не скрывал того, что он, казалось бы, народный и простецкий, в глазах «чистого поэта» Рубцова выглядел чуть ли не придворным писателем, а со смехом, иронией и пониманием смаковал ситуацию. Следовал следующий сюжет, как он, Рубцов и еще один вологодский писатель Коротаяев были на севере области. Собрались в старую намоленную деревенскую церковь. Вечер, время идти, а Рубцов, набравшийся «плодово-выгодной», где-то у реки лег за бревно, и всё. Потормошили, потрясли, ну что делать? Не готов он, значит, для высших целей. Вдвоем с чувством собственного морального соответствия отправились в храм. Поставили свечки, помолились, причастились, и так хорошо на душе, славно, вышли из церкви затемно. Чувство такое приподнятое, высокое, но деваться некуда, надо идти за Рубцовым, будь он неладен! Подходят, а Коля сидит на бревне, плечики поджал и, кажется, такой прозрачный. Смотрит перед собой, а по реке — туман. И вдруг читает стихи. Бог ты мой, сильнейшие чистые строки! «Когда ты это написал?» — «Да вот только что». — «Прямо сейчас написал?!» — «Да не написал, писать-то нечем. Так, с голоса».

Господи!.. Мы там ходили, Бога искали, а Бог-то сюда к нему приходил. И стихи эти Рубцов так и не записал, и они записать не догадались, прозвучали гениальные стихи один раз в ночном тумане — и всё...

«Погибшие строки: страницы воспоминаний о поэте Николае Рубцове» — были опубликованы Астафьевым три года спустя. И на этот раз литературный текст уступал устному рассказу, потому как хрупкую шемящую ноту тихой родины задавил обличительный тон «овсянкинского периода», так присущий в те годы СМИ. Зря Петрович вернулся в свое

родное село: надо было тогда и детство возвращать!

Только там, в отдалении, любя и тоскуя по родине с её былыми временами, можно было написать про деревенского мальчика, который под скрипку чужеземца Васи Полячка физически ощутимо обнаруживает в мире присутствие иных пределов, необъятность... Жметесь он к дуслу дерева, будто к материнскому лону, — образ иного, личностного рождения! Герои произведений Астафьева, написанных прежде, до возвращения, приходят в мир простыми и обретают по ходу повествования человеческую сложность.

Карпову довелось видеть, как слушал серьезную музыку Астафьев. В библиотеке Овсянки. Библиотека эта, двухэтажная, на берегу Енисея, построена благодаря Виктору Петровичу: ему предложили построить дом вместо старого пятистенка, в котором именитый писатель, приезжая в село, жил, работал и принимал званных гостей. Астафьев же решил, что библиотека нужнее и важнее.

Скрипичное японское трио в зале библиотеки давало Чайковского. За окном светило весеннее солнце, сверкали бликами движущиеся воды Енисея. А японцы всё пилили и пилили своими смычками. И вдруг потянуло посмотреть на Астафьева: тот сидел с гранёными чертами лица в совершеннейшем забытии. И только пальцы свисающей правой руки подрагивали, видно, дергая невидимые струны. На указательном пальце маститого писателя — на том месте, который касается при письме авторучки, — был рубец. Матёрый такой, какой бывает у каратистов на кулаках от ударов по макиваре.

И бегали пальцы, жили независимо от отрешённого человека, то ли по струнам, то ли перебирали лады гармошки, на которой писатель Астафьев иногда игрывал...

Юморист Михаил Евдокимов также «обка-тывал» свои сюжеты в обыденном общении. Вся добрая его крестьянская статья и широко-скулое лицо, улыбочиво устроенное, были полны невозмутимости, почти безучастия, а про-износил слово — люди за столом со стульев вываливались от хохота! До него Валё вообще

никак не воспринимал эстрадный юмор: хохмы! Евдокимов вывел на эстраду человеческие характеры с подмеченной в них изюминкой и талантом.

Михаил обладал большим чутьём на людей: так, он задолго до выборов двухтысячного года сказал, что человек с символической для главы государства фамилией Путин станет новым президентом России. Тогда совсем иные политики выступали с экрана, вели горячие дебаты, имели подготовленный электорат. Были популярными людьми и неоспоримыми претендентами на высокую власть! Путин же был почти неизвестен! Некогда Евдокимову довелось участвовать в предвыборной кампании, которой руководил Владимир Владимирович. Валё тоже приходилось заниматься выборами, он знал: ни дня, ни ночи, график работы сумасшедший — оно, правда, и чёс хороший! А координаторам просто прикурнуть некогда. Путин приходил иногда к артисту Евдокимову в машину и просил: «Можно я у тебя минут двадцать вздремну, — Михаил точно и забавно изображал текучую улыбку и несоразмерный возрасту юный голос. — Мне у тебя как-то легко». Садился на заднее сиденье, тотчас засыпал и ровно через двадцать минут просыпался абсолютным бодрячком! «Можно было секундомером мерить, — уверял Евдокимов. — Я там, — указывал глазами наверх любимый в разных кругах артист, — других таких не видел». Версия Евдокимова напоминала кинообраз идеального советского разведчика, потихонечку ставшего предметом юмора, и вызывала улыбку. Впрочем, Михаил так был устроен, что рядом с ним улыбка сама вытягивала щеки. Но в ночь, на рубеже тысячелетий, Карпову пришлось удивиться не только неожиданной рокировке, проведённой бывшим президентом, но и прозорливости юмориста Михаила Евдокимова.

Был речист Астафьев и увлекателен Евдокимов, но в слове со сцены, перед большим скоплением народа, никто не мог сравниться с молчаливым в быту и даже, казалось, косноязычным Валентином Григорьевичем Распутиным. Здесь приходит на ум сравнение его только с Федором Михайловичем Достоев-

ским, который тоже в обыденном поведении мог быть нескладным, но, по воспоминаниям современников, околдовал всех речью на открытии памятника Пушкину.

На всю жизнь запало выступление Валентина Распутина на горе Пикет в восемьдесят девятом году, когда жизнь отчетливо поменялась и в обществе было ожидание больших свершений.

Распутин стоял на дощатом временном помосте, установленном на вершине. Высокий, чуть склонив виновато голову к покатоному плечу: так было всегда, везде, неловкость какая-то странная чувствовалась в фигуре его, будто зашёл человек куда-то не туда. При этом сноровист он был очень: вспомним, как в «Уроках французского» герой точнее других уличных мальчишек кидал чикку: Валё в детстве сам играл в чикку и знал, как трудно и даже невозможно победить иных сорвиголов, которые гнули монетки свинцовыми шайбами с утра до ночи! А позже, на Ангаре, довелось увидеть Распутина в такой игре: мужчины, приезжие гости, стали кидать плоские камушки поверх воды, считая «блинчики». Ну, три, пять, семь — у самых удачных. Валентин Григорьевич взял камушек и кое-как, казалось, неловко его кинул. Камень скакал, скакал по воде, оставляя круги, двадцать, тридцать... — сбились со счета, и где-то за серединой реки просто исчез из вида. «Ну, я же тут вырос», — смущенно ответил писатель на возгласы удивления.

И речь у Валентина Григорьевича была мало-выразительной: говорок такой приглушённый, свойственный северным охотникам, привыкшим к стуже и долгому молчанию.

Ни до, ни после, когда в годы переворотов появились глашатаи, способные увлечь, повести, направить, Валерий не встречал такой воцарившейся тишины, просто физического ощущения духовной приподнятости среди громадного скопления народа. Склоны были заполнены, взгляды устремлены.

Распутин не призывал, он вызволял. Миропонимание, знакомое от роду и желанное каждым: жизни — по совести. Затопленная Матёра — триста лет знавшая только вольный крестьянский сибирский уклад — не затонула в

сознании его, всплывала и становилась реальностью для всех.

Замерли и продавцы на торговых лотках: хотелось верить, что «ветер перемен» принесёт им такую жизнь! Смуглый шашлычник с орлиным носом забыл раскладывать шпакки на мангал: там, на родине, в горах, предки его так и жили! По совести! У парня с наколками затухла сигарета в губах (тогда не было запрета на курение в общественных местах): да он за это и страдал, чтоб всё от души и по-людски!..

А над размышляющим у микрофона писателем, над помостом и всей горой распростирался портрет Шукшина — художника и близкого каждому человека, который всех сюда и созвал, в Сростки.

Много существует версий: почему село называется Сростки. Одни утверждают, что здесь большак срастается с проселочной дорогой. Другие, что в этом месте родился большевик Сростин. Но отсюда, с Пикета, хорошо видно, как бегущая с верховья многопалая Катунь именно здесь, в Сростках, — срастается! — и дальше течет единым руслом.

Казалось, отныне вся наша жизнь также пойдет единым мощным движением...

ПОСМОТРЕЛ Я НА КАРТУ МИРА...

... Через три года Валё шел вечером по Старому Арбату, воспетому в том времени, которое отныне называли «совком»: ставший на волне модным художник так и изобразил советских людей — шествует колонна, а вместо лиц совковые лопаты.

По Арбату валялись рваные картонные ящики и бегали жирные крысы: столицей тогда правил очень передовой мэр, внешне вдруг распавшийся в жирную обрюзгшую бабу. В тусклом свете метро «Арбатская» люди были словно прибитыми и подернутыми пылью: упомянутому художнику впору изобразить бы вместо лиц целлофановые пленки. И вдруг Карпов ясно не увидел даже, а почувствовал где-то в глубине толпы — два тлеющих, прожигающих серую поволоку уголька. Повернулся — Валентин Распутин!

По всем меркам, Валентин Григорьевич Распутин был тогда абсолютно успешным человеком: лауреат государственных премий, член Президентского совета, квартира в Староконюшенном близ Арбата. Но глаза Распутина — тлеющие уголья — источали страдание.

Да, в семьдесят девятом умную головушку его пробили кастетом, в лобной кости стояла пластина. Тогда считали, что это хулиганы. Но из нового времени, когда в пердеде собственности крошили головы и стреляли почём зря, ситуация видится иначе. Распутин боролся за чистоту Байкала, то есть мешал строительству крупных промышленных предприятий. А это — громадные денежные вливания, должности, награды.

Зрение у Распутина стало выделять свои фокусы, и он писал мизерными буквами, которые человеку с обычным зрением можно рассмотреть только в лупу. Но не это печалило Валентина Распутина, очень сильного человека: даже когда на его глазах разбился самолет с дочерью на борту — отец ждал её в аэропорту, — он не выказывал личного горя, не перекладывал страдание на других. Крайне самоуглубленный, Валентин Григорьевич жил крайней сопричастностью с людьми. Всегда в сторонке, всегда молчком. Но как скажет, так в десятку. Вместе с Распутиным и другими писателями Валё оказался в кабинете директора академического иркутского театра. Породистый, красивый человек, ведущий актер в прошлом, начал развивать мысль:

— Посмотрел я недавно на карту мира... — директор-актёр сделал весомую паузу.

— Не понравилась, — тихо вставил из своего угла Распутин.

При случае Валё спросил:

— Что вы сейчас пишете?

— Три года не пишу.

— Почему?

— Интерес пропал.

На тот же вопрос в документальном фильме «Река жизни» писатель, стоя на фоне бегущих за бортом вод, ответил иначе: «А кому читать-то?»

Теплоход с писателями в фильме плывет по Ангаре, останавливается в прибрежных дерев-

нях, которые имеют с городами только водное сообщение летом. На дворе две тысячи девятый год, а запустение страшное. В сюжете есть очень характерный эпизод: в сельской библиотеке Валентин Курбатов перебирает книги и среди новинок за последние годы находит лишь одно художественное издание — «Жизнь насекомых». То ли человек, ответственный за распределение книг в библиотечном фонде страны, посчитал, что именно этой книги не хватает сельским жителям на Ангаре, то ли проявил известный юмор. Здесь еще и ответ на большие тиражи определенных авторов и так называемые рейтинги.

В фильме сложился еще один, не задуманный авторами страшный сюжет. Закадровый голос задаёт издателю Геннадию Сапронову вопрос: «Что есть смерть?» Перед задумчивым, крепким сибиряком лежат книги — тома Распутина, Астафьева, Белова... Геннадий, указывая на эти любовно оформленные издания — плоды его труда, — отвечает: «Смерти нет».

Геннадий Сапронов в прошлом был журналистом, занялся предпринимательством, чтобы в годы забвения литературы выпускать книги тех писателей, каких ему самому нравится читать. То есть человек зарабатывал коммерцией и тратил на издания, не приносящие дохода.

Через три дня после вопроса о смерти, на который, может быть, и нельзя отвечать относительно себя, Геннадий Константинович Сапронов скончался. Перешагнув порог своего дома после путешествия по Ангаре и, успев воскликнуть: «Лена, что я видел!» — упал с разрывом сердца.

Как некогда рухнула наземь военная медсестра Полина Карпова, получившая письмо о кончине Мама-старушки! Люди великой любви. Сверхлюди.

Запустениехватило и некогда большое село Кажа. Одно отраднo, что вместо разъехавшихся сельчан каждую весну является нашествие полевых и горных цветов, так что уже на подъезде к селу благоухание царит в воздухе просто окрыляющее. Кажу облюбовали пасечники, накупили за бесценок домов, наставили ульев, и летом село вполне живое, с постоянным жужжанием в воздухе.

Карповы, кои здесь не примерли раньше, разъехались, но в пределах Алтая: Бийск, Красногорское, Майма.

Некогда Распутин написал статью: «А куда подевалось в России родство?»

Семейные гроздья, как звездные скопления в расширяющейся Вселенной, так же стали отдаляться друг от друга и в единотелой прежде родне Карповых. Приезжая на Алтай, Валё совершал круг объезда и обхода родственников, и ему приходилось рассказывать, как живут двоюродные и троюродные в соседних поселках или городах. Что же, ветви мамочкиных братьев и сестер, а почти у каждого было по пятеро, вырастали в свои древа. Он был сыном няньки Ариши, почитаемой роднёй как святой, и всем оставался близким. Взрослели молодые, никогда не видевшие его мамочки, но знали о ней и почитали, так же называя нянькой.

Валерий дивился, как в политической суматохе нашего бытия родственники умеют сбереечь себя и не впустить в свою жизнь чепухи. В очередной свой приезд как-то заговорил об очень популярном телеведущем, умевшем зло, но по-своему остроумно поиздеваться над соотечественниками. Родственники сначала слушали московского гостя-писателя, уважительно кивая, а потом сын сестры Гали, внук дяди Яши, на него похожий, только совсем уж громадный, Виктор, скромно спросил:

— А кто это?

Они не заметили как явление этого экранного иезуита, сеявшего, как полагал столичный родственник, дурное плево!

В следующий раз Валё, напившийся политическими веяниями, стал сокрушаться, мол, для чего боремся, все богатства-то в России принадлежат горстке олигархов! И тот же внук дяди Яши, Виктор, пожав крутым плечом, смиренно улыбнулся: «Олигархи уйдут. А Россия останется».

Никто из Карповых не стал «новым русским», но жили крепко. Брат Вова, высокий, сухощавый, с тяжелыми набалдашниками пятерней на длинных жилистых руках — всю жизнь водитель КамАЗа — вовремя успел выкупить в распадающейся гаражной организации две большие машины с прицепами. Рули-

ли с сыном по Алтаю, Кемерову, и в Монголию ходили. В хозяйстве: и корова, и козы, и птица. Огород прямо на берегу Катуня. Тоже успел. Сейчас уж то пансионат, то гостиница, то просто высокий забор с хоромами.

Родственники сетуют: всё скупили приезжие, к реке не подойдешь. А летом столько машин по тракту — в противоположный ряд не вступишься. Валё доводилось беседовать с хозяином очень крупного пансионата на Катуня, тот жаловался: работников приходится привозить из крупных городов. Местные не годятся. Спросил у брата, мол, в чём дело, выпивают люди, что ли?

— Да при чём здесь выпивают? — вскинул Вова матёрой пятерней. — Халдеев нет!

Сестра Галя, как в детстве, поддразнивала отцовской фамилией «Ладкин». Тогда он до слёз хотел быть только «Карповым». Но данность эту, отцовскую, когда есть потребность менять жизнь, само жизнеустройство, пуская в ход даже саблю, как некогда дед, он в себе нёс. Поэтому на родню по мамочке смотрел как на самых близких людей, но чуть иных, с особой крепкой закваской внутри.

Ни один мужчина из большого рода не оставил жену и детей, не сидел в тюрьме. Причем женщины выходили замуж, и их мужья становились ближе к роду жены, чем к своему, фамильному. О жёнах Карповых-мужиков и говорить не приходится — всех забирала архаичная единотелость выходцев «с Кажу».

Валерий видел в уживчивости и спокойствии материнского рода способность пребывать в России вечной, где время всему обозначено: вспахать, посеять, вырастить, накачать меду — неспроста у многих в родне пасеки с их мудрым устройством пчелиного роя. Карповы тоже были в своём роде пчелиным роем. Угождать плодами труда своего всем — все перед явлением хлеба и мёда едины во мнениях.

Родня по отцу, кого знал, люди яркие: баба Дуня, красавица в молодости, певунья, огонь даже в старости: «Да рази шас я, Шура, пью?! Ране, бывало, литру выпью, напляшусь да семь верст в Шипуново за второй литрой иду!» Бийский внук бывал у неё в деревне лишь во младенчестве. Маралиха, Путиловец — помнил

названия да вздымающийся огонь в горне темной кузни. Павел, дядя — так и восставал перед глазами. Титан в морской форменке! Боксер, лыжник, большой книголюб, директор, заключённый, инженер на Братской ГЭС, и трагическая гибель, которая случилась из чувства собственной непомерной силы. Дед Степан, Георгиевские кресты — в германскую, герой — в Гражданскую. «Так и сыпал пословицами и поговорками», — рассказывал старший брат Олег, который успел застать его при жизни в столице Адыгеи Майкопе. Самому брату Олегу Александровичу суждено было построить в Республике Беларусь красивые дома и здания метро.

Отец, Степаныч, талантливейший из людей, разматавший свои таланты по просторам... Хотя как — разматавший?.. Сколько он построил печей, подвёл фундаментов, особенно в домах одиноких женщин. Тиражированные им картины Васнецова радовали глаз в домах небогатых простых людей, пока не появились ковры заводские, трафаретные... Да и по праву не любившая его родня жены Ариши — как собиралась на гулянку, так отводила душу, вспоминая Степаныча смехом...

Жизнь Валё Карпова, по отрезкам, всегда закольцовывалась в сюжет. Неожиданно судьба повела его в Крым, где некогда, оставив в Сибири маленького сына с женой, обосновался папа, присылая красочные открытки с морскими видами. Причём не было никаких мыслей о том, что вот, дескать, там жил отец, поеду-ка — «пристреляюсь» — как выразился бы он, Степаныч.

Сначала выпала журналистская обзорная поездка по побережью Крыма, где приоткрылся полуостров — маленький уголок Земли с вечным пересечением интересов огромных стран и континентов.

Валё тогда вёл программы на радио. Что касается литературной жизни, то она как счастливо решительно началась, так же резко и закончилась. В планах памятного девяносто первого года значились выпуск книги в издательстве «Столица» и съёмки фильма на киностудии им. Горького. А вместо этого пришлось таксо-

вать, торговать, как и большинству среднестатистических гуманитариев, которые сами же благ свободы и добивались, скандируя на многотысячных митингах: «Ельцин — да!» Пытался устроиться в газету, но популярный главный редактор сразу ознакомил с генеральной концепцией издания: «Расчленёнки, расчленёнки побольше!»

Сладострастная вакханалия национально-го самоуничтожения царила буквально во всех центральных СМИ. Карпов прошёлся по редакциям радио столицы, где оставались знакомые, с концепцией программы о выдающихся сынах Отечества: иные кивали с пониманием, но при одном названии пригибались и оглядывались — какие тебе «национальные герои»?! В красно-коричневые угодишь, не отмоешься! Из сегодняшнего дня, когда СМИ захлёбываются от патетики патриотизма, умудрившись при этом не сменить редакторского состава, это удивительно, но было так.

Неожиданно Карпова пригласили в новую телерадиокомпанию «Мир» евразийской направленности — директор и её создатель был казах, почитающий идеи Льва Гумилёва. Карпов тоже зачитывался Гумилёвым-младшим.

В небольшом эфире «Мира» требовалось представить все государства СНГ — «Ритмы Евразии» назвал он свою программу. Являлись с проповедями и рекомендованные новые идеологи с их одинаковыми, будто штампованными улыбками: в те годы они, казалось, жили в электронных СМИ. Звали в свободный рынок, к общемировым ценностям, хотя, согласно замечанию Льва Гумилёва, таковых не бывает, а есть доминанта одних ценностей над другими.

Появились косячком и новые писатели: ладно бы молодые, многие старше Валё, но раньше он о них и не слышал. Стали маячить на разных программах — а эфир денежку стоит! И тиражи, и премии, и тоже общий признак: губки так бутончиком, будто везде, вокруг, даже в герметически заделанной драпом акустической студии подванивает — в России живём!

Все эти господа становились популярными — так называемыми «пуловыми» людьми — и

их уже повсеместно редакторы сами звали в эфир как признак рейтинга.

Ведущему Карпову все-таки удавалось протащить в передачи и Распутина, и Игоря Шафаревича, правда, последнего под клятвенное обещание — «только не про малый народ». Объяснять было бесполезно, что «малый народ» в трактовке Шафаревича — это не евреи, а прослойка своего же народа, охваченная разрушительными задачами.

Прослойка такая была не только налицо, а становилась властью, как в «Зигзаге истории» всё у того же Гумилёва, где страну Хазарию с доверчивым народом «съела» своя же элита, имевшая двойную мораль и отдельную от народа религию.

По Крыму журналистов везли на большом комфортабельном автобусе, делая остановки в знаковых местах. Валё готовил миниатюры для своей рубрики «Пассионарий». Электронных записывающих устройств, когда озвученный текст можно сразу передать по интернету, еще не было совсем недавно. Записывали на кассетный диктофон, потом всё перекачивалось на плёночный диск студийного магнитофона. Оператор чистил, удалял ненужные звуки, паузы, поэтому тексты от «балды», как повелось позже, не наговаривали. Сначала делали письменный вариант. Озвучивал Валё, для пушей погружённости в местах событий.

«Во дворце хана Гирея, что в Бахчисарае, можно было безошибочно, след в след, встать туда, где стоял Пушкин перед Фонтаном слёз. Десятки тысяч людей до и после смотрели на этот фонтан, ожидая увидеть — фонтан же! — высокие струи воды и брызги. А видели лишь маленькую скудную капельку — слезу, скатывающуюся и прячущуюся в камне. А Пушкин, двадцати одного года, русский гений, разразился «Бахчисарайским фонтаном» — поэмой любви, ревности и бурной страсти!

Что касается самого сюжета, связанного с созданием «Фонтана», то экскурсовод музея привёл иную историю. Бездетный хан приютил маленькую девочку-полонянку, растил как дочь. А иноземка, как птичка в клетке, отошла в мир иной. Хан тосковал по ней отеческой любовью, из-за моря привёз художника-умельца,

который в утешенье хану заставил камень плакать...»

В роду Карповых с берегов Кажу все молились на деток своих, и Валё, как отцу, сюжет с ханом-отцом был человечески ближе...

Следующей стоянкой был Севастополь.

«В древних полуразрушенных руинах Херсонеса колонны подпирают открытое пространство, а углубление купели напоминает протянутую пригоршней ладонь. По сегодняшним меркам князь Владимир, крестившийся здесь, видится большим греховодником: сын рабыни, он с отроческих лет был блудником и насильником. В пятнадцать лет убил родного брата, силой взял его невесту на глазах её отца и матери, а потом убил их. Кроме жён, имел восемьсот наложниц. Но всё это было абсолютной нормой поведения для язычества! Что-то вроде современного «крутого». Победные войны привели киевского князя в Крым. На благодатной земле, близ морских пучин, ему открылось чудо любви — Владимир полюбил сестру византийских царей Анну. Да так, что стала одолевать его слепота. Буквальная ли, душевная? Ни в чём киевский князь не знал преград, а тут именитые братья Василий и Константин сестру за него не отдавали, пока Владимир не примет христианство. А это означало — полный жизненный переворот. В двадцать восемь лет князь Владимир ломанул свою судьбу — крестился и тотчас, как сообщают летописи, прозрел. Всех своих прежних жен и наложниц отпустил по их воле искать себе мужей, а выбрал единственную, православную Анну.

Что миф, что быль? Доподлинно одно: именно здесь, в крымском Херсонесе, — Валё ногами это прочувствовал, — ясно обозначился дальнейший путь Руси Великой».

На Приморском бульваре Валё Карпов наговаривал текст сразу на диктофон:

«Поодаль от берега возвышается над водой, словно вынырнувшая верхушка мачты, Памятник затопленным кораблям. «Трупы увозили возами», — писал участник тех крымских батальи середины восемнадцатого века Лев Толстой. В «Севастопольских рассказах» двадцатилетнего писателя спроецировано всё дальнейшее творчество. Вера в просто-

го человека, в силу духа его, отрицание войны как способа людского сосуществования. Снаряд, вращающийся со свистом и шипением в «Севастопольских», потом будет вращаться у ног Болконского, только автор уже называет смертоносное орудие и птичкой, и мячиком, добавляя ощущение детской игры, в которую заигрались взрослые дяди.

А на самом деле снаряд этот застрял в памяти еще на Кавказе, когда разбил колесо пушки, прицел которой наводил артиллерист Толстой.

Бомба вращалась рядом с самим Толстым, и сотни раз в многочисленных боях осколок или пуля могли угодить в него — мир мог не узнать яснополянского великана! Остался бы в истории рода Толстых героический поручик, прошедший войну на Кавказе и в Крыму, получивший в награду орден Святой Анны. Провидение ли охранило его? Господь Бог? Или мать, упокоившаяся, когда Лёве было два годика, приняв образ Богоматери, явилась из бездны и укрыла дитя своё?

Для Льва Николаевича облик рано ушедшей мамы был, по его признанию, человечески идеальным и прекрасным...»

Так думал Валё Карпов, потому что в своей жизни всегда чувствовал спасительное присутствие мамочки.

Не на войне, но во времени, которое строило смятение, мятежи и войны, в девяностом году Валё в городе Твери попал под поезд: вышел на станции, а стоянку сократили. В задумчивости объявление он не расслышал, увидел в окне вокзала, как поезд пошёл и набирает скорость. Выбежал, бросился вдогонку. В вагоне оставались документы, вещи, рулон колбасы и две бутылки коньяка, которые тогда, в разгар антиалкогольной кампании, он сумел добыть и вёз для встречи со старинными друзьями в Псков. Валерий мчался по перрону, и проводница из последнего вагона прокричала ему: «Не прыгай!» — и закрыла дверь. Уходил не поезд, жизнь уходила, меняя порядок, и он рванул, достиг второго сзади вагона.

Всё это он вспомнил позже, а на следующий день очнулся в реанимации тверской больницы. Один, никого больше в палате, на высокой кровати. Антенна над глазом свисает, весь

забинтован, и ноги, правая и левая — ступни — как-то в одну сторону скошены. А самому весело — под наркозом. И знать, после перенесённого подспудного страха, осознания, что живой.

Врач явился, тоже весёлый:

— Тридцать лет, — сказал, — работаю, второй случай, когда с рельсов живого и почти здорового привозят. Первый раз было, когда только пришёл, — привезли с отрезанным ухом. Но тогда — из-под трамвая. И тебя вот — с отрезанным большим пальцем ноги. С железной дороги обычно мешок костей привозят! В рубашке родился, за тридцать метров от пути тебя подобрали, где-то зацепился и отбросило.

Увиделось — почти вспомнилось, что это мамочка его успела выхватить из-под колес и унесла в безопасное место. Ну, а как ещё?

Она всегда вела его, была с ним — образ её жил внутри, виделся где-то рядом: словно проступит лик в пространстве, и она смотрит. То любовно, то требовательно, то с нестерпимым состраданием.

«Куда ни повернись в Крыму — вехи истории. Куда ни ступи — каждая пядь земли полита кровью, — записывал Карпов у обелиска. — В боях Великой Отечественной — и воев не хватило бы, чтобы увозить погибших. Братские могилы... На обелисках выбиты фамилии воинов разных народов. Под плитами покоится до поры и великая идея интернационального братства».

Дорога по горному «серпантину» вдоль моря на автобусе — чувство захватывающее! И красота, и опасность!

«В сапогах и неизменной шляпе пешком шагал в жару по Южному крымскому берегу Максим Горький, принимал у случайно повстречавшейся бабы роды, и всё у него было в строку...

А Чехову, Антону Павловичу, хватало заметить едва мелькнувший силуэт, и уже пошла дама с собачкой по набережной Ялты.

С Горьким они гуляли по Гаспри, один очень высокий и худой, с бородкой — интеллигент, — другой еще выше, с длинными мосластыми руками, обильными усами — и не интеллигент, и не работяга, просто гордый человечище. Под-

жидали Толстого, приехавшего из крымской Ясной Поляны на лошадке уже в преклонные лета...»

Юг и запад Крыма — курортные места. История. Но самые древние города находятся на восточном побережье — Керчь и Феодосия.

Карпов продолжал рассказ о Крыме, познавая многое впервые сам:

«Три века османы и воины крымского хана жили набегами и десятками тысяч уводили в полон людей с южных русских и польских земель. В Кафе, как тогда называли Феодосию, от стен Генуэзской крепости отправлялись галеры со славянскими мальчиками, которых воспитывали бесстрашными и жестокими османскими воинами: армия янычар набиралась исключительно из славян и кипчаков. Крепких молодых мужчин приковывали к вёслам военных и торговых судов. Девочки и девушки становились наложницами или слугами.

Отсюда, согласно легенде, от стен Генуэзской крепости Кафы, отправилась проданная в рабство пятнадцатилетняя славянская девушка Настя, будущая правительница Османской империи, известная в истории как Роксолана. Она, дочь сельского священника, посвященная в магометанство, прослыла непревзойдённой красавицей, знатоком и покровительницей искусств, образованнейшей женщиной своего времени. Хвала и честь, но как она могла бы послужить отечеству, оставшись на родине?!

Работоторговле в Крыму положила конец другая талантливая женщина, урожденная католичка, принявшая православие и ставшая повелительницей России. Когда захват подданных Российской империи в южных губерниях принял глобальные размеры — Екатерина Вторая, что называется, прикрыла лавочку. В Крым пожаловала сорокатысячная армия под командованием Василия Долгорукова, впоследствии прозванного — Крымским. Стотысячное объединенное войско османов и крымского хана, выдвинувшееся защищать свой прибыльный бизнес, было наголову разбито! Сколько их, русских солдатешек, в кровопролитных боях полегло у стен древнейшей Феодосии, на ту пору Кафы?!

Безутешно рыдала мать в той же Вологде или Рязани, не дождавшаяся сына, или солдатка, оставшаяся вековать без мужа. Но, увы, без этого Россия, как обсосанный сладкий пряник, стояла бы с южных земель, равно так же и иные славянские народы».

Валё с детства помнил картину «Девятый вал» Айвазовского. Оказывается, такого шторма в этих местах не бывает. Да и вообще, Айвазовский не писал море с натуры!

«Кем бы мог быть сын бедного торговца Ованнес Гайвазян, по последующим документам Гайвазовский, появись он на свет в той же Феодосии — Кафе на полвека раньше? Но Иван Айвазовский стал живописцем Главного морского штаба, академиком, всемирно известным художником, воспевающим море, а еще богатейшим землевладельцем, обеспечивающим города овощами и фруктами. Родился Ованнес после свирепствовавшей в Феодосии чумы, где никто из семьи Гайвазовских не заболел, но отец был разорён. Спасала семью рукодельница мать, феодосийская армянка, в память о которой впоследствии художник, владевший всеми чернозёмными землями Крыма, давал приданое бедным армянским девушкам. Феодосию Иван Константинович буквально преобразовал: на свои пожитки открывал школы, провёл в город железную дорогу, проложил первый водопровод, который продолжала строить его юная, сорока годами моложе, вторая жена Анна. Художник был влюблён в Анну с первого взгляда, увидев её, только что ставшую вдовой, на похоронах, идущую за гробом мужа. Она ли, молодая армянка в чёрном, пленила его? Или поэтический образ, воспламенивший воображение великого художника?»

Экскурсию сопровождали угощения, тосты, единодушие. Но прибыл один крепко запоздавший гость — дагестанский поэт Магомед Ахмедов. И сразу почувствовалось, что вот это и не хватало. (Карпову везло на совместные путешествия с ним — так, позже вместе ездили по Якутии, где после хлебосольных приёмов Магомед замечал восхищенно: «Все говорят: «кавказское гостеприимство, кавказское гостеприимство» — да мы дети в сравнении с якутами!» У него получалось — «дэти».)

Крым тогда был под юрисдикцией Украины, еще вполне дружеской и даже братской России, хотя уже раздавались голоса про древних укров, родоначальников человечества, про Ноя, высадившегося с каждой тварью по паре после Всемирного потопа на Карпатах.

Книгочей Ахмедов посмеивался, слушая иные комментарии, но с одним обстоятельством согласиться не мог. И в какой-то момент, когда выступавший историк смехом вспомнил якобы нарисованные вдоль дорог для приезда царицы «потёмкинские деревни», Магомед заговорил.

— Зачем повторять досужие небылицы? Генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, правитель Новороссии, был главным устроителем крымских земель.

Пред гулким его голосом, напоминающим рупор, все приутихли, заслушались. Горский акцент, в котором всегда звучит ратный дух, придавал особую убедительность. Надо сказать, что и для Валё образ Потёмкина был на уровне побасёнок — любовник плотоядной императрицы, что ещё?

С голоса дагестанского поэта, аварца Магомеда Ахмедова, он дополнил свою крымскую звуковую летопись под рубрикой «Пассионарий».

«В губернию Новороссии входили земли Молдавии и Дикого Поля, куда никто не хотел селиться даже за предложенные коврижки: туда-сюда гуляли в набегах кочевые племена, обворовывали, убивали, сжигали. Назначенный правителем южных земель князь Григорий Потёмкин взялся за дело с размахом, свойственным характеру и неожиданной практичностью. Переселил десятки тысяч крепостных из Центральной России: то, что позже стали называть страшным словом «депортация» — насильственное переселение — было обычной исторической практикой.

Создание Новороссии относится ко времени заселения Алтая. Одни отправлялись в Сибирь с её лютыми морозами, где ещё нужно было раскорчевать тайгу, чтобы растить хлебушек, другие переселялись на малообработанные земли ласкового Приазовья и Причерноморья,

борясь с недостатком пресной воды. Выигрывали все, обретая волю и землю.

Правитель Новороссии привечал и беженцев, не возвращая по требованию дворянам, щедро наделяя землёй. Призывал народ из Скандинавии, Италии, Германии, буддийской Калмыкии — отовсюду, кто хотел иметь приложение рукам и уму. В считанные годы на малолюдной территории выросли, по соизволению царицы, города — Павлоград, Мариуполь, Николаев, Екатеринослав (позже — Днепропетровск), Херсон, где началось строительство Черноморского флота. Потёмкин открывал мореходные, медицинские учебные заведения.

Григорий Потёмкин сдружился с ханом Гиреем и по его согласию переселил в Крым российских подданных разных национальностей и вероисповедания. А потом уговорил Екатерину Вторую принять крымские земли под её царскую «великую руку». В Крыму построил Симферополь и на месте крепости, организованной Суворовым, — город Севастополь.

Властительные соотечественники не хотели допустить мысли, что этот человек с пиратской повязкой на лице, закатывавший балы на весь Петербург, умопомрачительный любимец женщин, мог построить процветающее государство в государстве. Злопыхатели пустили в ход утку про «потёмкинские деревни», якобы нарисованные вдоль дорог для вида. Возможно, Григорий Александрович мог для колорита и куража вытворить и такое: он очень ценил художников и умельцев. Но стоят города, возделаны уголья и цветут сады на некогда диком поле и некогда натопанной скопищем перегоняемых рабов пыльной причерноморской земле.

К этому надо добавить, что Потёмкин провёл армейскую реформу, начав обучать новобранцев определённым военным специальностям, отменив парики и косички и сделал форму удобной для боевых действий. Мудро вёл себя как главнокомандующий армии во время Русско-турецкой войны, предоставив свободу в действиях в наземных боях Суворову, а на море — Ушакову, сам же занимаясь обустройством тыла.

«Деньги — сор, — говаривал Потёмкин, — люди — всё».

Князь Григорий Александрович Потёмкин сделал для России на юге никак не меньше, чем Пётр Первый на севере, но веками, при любой власти — монархах, коммунистах, либералах, — преподносят его общественному сознанию прежде всего как ушлого фаворита плотоядной царицы.

Любовная связь Екатерины Второй и одноглазого генерала была недолгой: имея чутье на людей, Екатерина приблизила образованного, владеющего несколькими языками выходца из маленькой деревни на Смоленщине, угадав в нём дельного человека и государственный ум. По этой же причине и отдала, успев родить от него дочь: Александр нужен был ей на окраинных рубежах для больших дел. А около её юбки найдётся кому вертеться.

Царица говорила о Потёмкине, что его отличают «смелое сердце, смелый ум и смелая душа». После внезапной кончины князя Екатерина Вторая осуществила намерения старателя Новороссии, повелев заложить Луганск и Одессу.

Потёмкин создал свой Новый Вавилон. Только народы, говорящие на разных языках, в отличие от Вавилона мифического, имели и единый язык общения: русский».

Магомед Ахмедов сам был масштабной личностью, поэтому мог рассуждать и о Шамиле, четверть века воевавшим с Россией, и о Ермолове, прозванном «усмирителем Кавказа». И не было противоречий в том, выходили они красивыми людьми.

МЕНТАЛИТЕТ

Была такая вот памятная обзорная поездка по Крыму. И сразу же, по возвращении, знакомый человек предложил купить квартиру: цены на жильё в Крыму, где при Советах была, как и в Москве, лимитированная прописка, в девяностые очень упали. Закрылись заводы, порты, работа оставалась только для женщин — продавцы, официантки, для более молодых — танцовщицы в открывавшихся ресторанах и борделях. Специалисты с профессиями броса-

ли свой благодатный край, торопились в Москву, которую тогда стали звать «резиновой». А в начале двухтысячных вездесущие москвичи, которые на самом деле к той поре тоже были все приезжими, но уже успели обжиться и заработать, стали скупать в Крыму недвижимость.

Валё Карпов ехал на машине по Симферопольскому шоссе оформлять покупку предложенной, по его небольшим деньгам, крымской квартиры.

На закате советской власти украинский поэт, собрат по литературным курсам, доверительно делился с ним впечатлениями:

— Едешь по Курской и Белгородской областям: домики вдоль дороги неказистые, хозяйства запущенные, — говорил рослый сухощавый человек грудным убеждающим голосом. — Въезжаешь в Харьковскую область — пошли белые хатки, всё ухожено, сады цветут! Разный национальный менталитет!

На тех курсах собрались дети разных народов: представители двадцати двух национальностей — сорок мужиков и одна молдаванка. Каждому предоставлялась отдельная комната в институтском общежитии и сто пятьдесят рублей стипендии — зарплата среднего инженера. У национальных авторов выходили книги в русском переводе с хорошими гонорарами. Но претензии зрели. Так, эстонский писатель с характерным акцентом выговаривал Карпову:

— Можно жить рядом с немцами, французами, англичанами, но с рьюусскими нельзя!

— Почему?! — Опять он в чем-то был виноват.

— Становишься рьюусским! — эстонец широко раскинул руки, будто пошёл в пляс.

В две тысячи третьем году дорога по пути в Крым подтверждала наблюдения украинского поэта: пока ехал по России — ухабы, выщербленный до грунта асфальт. А после границы теперь уже с отдельным государством Украина — бетонка, как взлетная полоса: сооружение советских времен. Оставалось согласиться: менталитет.

К две тысячи тринадцатому понимание менталитета пришлось менять: дорога по Курской и Белгородской областям стала гладь да благодать! И дома вдоль трассы выросли большие,

новые — любо-дорого! Переезжаешь границу, и сразу же, на объездной, по Харьковку, такие выбоины — колесо можно потерять! Хатки как-то поблекли, словно в землю вросли. И девушки гарные по обочине: ждут. Что, тоже менталитет? Увы, нищета. И отсутствие былых дотаций!

В СССР в отношении национальных образований существовала слишком разная социальная и экономическая политика. В этом Карпов мог убедиться еще в детстве. Когда хлеборобные алтайские земли в шестидесятых годах по решению большого любителя борща и гопака засадили кукурузой, которая в Сибири родилась годной только под силос — кормовые для скота, — хлеб исчез из магазинов. Следом и молоко, мясо. В те же годы поехали они с мамочкой к отцу в Среднюю Азию — многие тогда из северных мест, словно птицы небесные, отправились в сторону южную. В Киргизии, где поселились, был рай и полное изобилие: разнообразные куски мяса висели в ларьках на стержнях с крючками, молоко продавалось в бутылках — пустые бутылки, промыв ёршиком, сдавали на обмен. Ломились полки от белого, чёрного хлеба и запашистых лепешек, испеченных в тандыре!

Свойственное подросткам сбивание в стаи и распри носили скорее территориальный характер, нежели национальный. Киргизы вообще отличались благодушием. Но пришло время, и по национальным образованиям покатались простые воззвания: мы живём богаче, чем Российская Федерация, зачем нам её кормить? Что с того, что всё перевёрнуто с ног на голову, и никто не берёт во внимание газ, нефть, уголь, металл по субсидированной цене, да и тот же хлебушек, картошечка, которая на Алтае родится, куда как лучше, чем в южных землях, — а продавалась по одиннадцать копеек за килограмм повсеместно! Тогда как яблочко сладкое в Сибири — по пять рублей! Куда там?! Отделимся, и на одной минеральной воде, на одном хлопке, мандаринах — будем иметь столько!.. Ну, и далее, всё как по лекалу, о древних национальных корнях, коих у русских, как подавалось, отродясь не бывало. Нацистская теория с той разницей, что в Германии речь шла о превос-

ходстве арийцев над всеми расами и народами, а на территории бывшего Советского Союза всё утыкалось в противопоставление данного народа русским. Так, Карпов уже в начале девяностых был в родной для него Киргизии. И что? Их группу журналистов, только прибывших, заботливый швейцар не хотел пускать в ресторан на том основании, что здесь проходит киргизская свадьба — всякое может случиться. При этом свадебное торжество располагалось за отдельным широким столом, а за маленькими столиками в зале также сидели посетители. Журналисты были московскими, балованными вниманием властей, пошли напролом. «Ну, вы камикадзе», — сказал им вслед дежурный. Никаких конфликтов не возникло, говорливые хитрые москвичи произнесли здравницу молодожёнам и похвалу первому президенту суверенного Кыргызстана и скоро угощались и танцевали вместе с киргизской свадьбой.

Поменялась историческая ситуация, и ныне, в две тысячи двадцатые, чуть не вся Киргизия в Москве! Как сглаз спал: снова те же добродушные трудолюбивые люди.

Уж коли затронули тему, отметим еще одно важное для нашей жизни обстоятельство: когда в девяностых стали массово приезжать в Россию таджики, они мало что умели, но готовы были взяться за любую работу. За два-три десятка лет овладели профессиями: теперь среди них действительно много хороших строителей, классных авторемонтников. В то время как русские здоровые молодые мужики, приехавшие из провинции, работают охранниками, теряя всякие трудовые навыки возле очередного шлагбаума или вертушки, сидя в полудреме у монитора за перегородкой.

Валерий приобрел квартиру, как называют в Крыму, на земле: одноэтажные, двухэтажные домики с общим тесным двориком. Снаружи эти домики воспринимаются красивой театральной выгородкой. Внутри — всё драно и запущенно. Одиннадцать квартир, девять выходов — единая коммунальная жизнь. Мужчины помоложе, все без исключения, уезжали на заработки в Москву, в Ростов. Женщины во дворе и по соседству месяцами жили в одиночестве, не имея возможности летом наслаж-

даться морем: открывался сезон — и вырастал спрос на продавцов, официанток, танцовщиц. Женщина с загорелыми ногами до колен и белизной тела под заголившемся на ветре подоле или сбившемся вырезе платья — это крымчанка. Исключение — танцовщицы: загар — часть макияжа, да и работа ночная, днём под солнцем можно заодно и отоспаться.

«Тот, кто рождён был у моря, тот полюбил навсегда...» — эту песню с любовью пели в Сибири, далеко от моря. Любили и море, которое видели только на картинках или в кино. Валё жил и не знал, что любит море. Море он начал сильно любить, когда пришёл с флота дядя Паша с якорями на ленточках бескозырки и синими волнами полос на откидном воротнике форменки. А скоро и братка Толя, сын дяди Яши, вернулся, отслужив тогда четыре года, с флота. Поменьше ростом Павла, но тоже высокий, плечистый, духовитый и широкий в движениях — моряк! Алтайских парней любили брать во флот. Вот и Шукшин во флоте служил, на Чёрном море.

Глаз городского человека привык к обрубленному, отсеченному пространству. Выезжая в равнинную местность, человек радуется объявившемуся простору, но взор его все равно утыкается в полосу леса или видит волнистую линию горизонта. Некогда Валё в монгольской степи, где день едешь, другой, а по кругу — гладь, ощутил иное присутствие на Земле: я — и купол неба!

Солнечным утром или лунным вечером линия горизонта на море растворяется и только играющая светом и бликами, теряющимися где-то под небесами, дорожка зовёт туда, за исчезнувшую черту видимого. Что там, где?

Ему полюбилось море. Но особенно заманило Валерия море у восточного побережья Крыма: не столь экзотическое, как в Средиземном бассейне с диковинными и яркими, будто оперенья птиц, опасными рыбками. Не такое даже, как здесь же, в Крыму, отливающее бирюзой на Беляусе или кучерявое у Ялты — более умеренное во всем, сродни провинциальной душе его, бийской, зареченской. И пляжи растянулись на тридцать километров, и песок — и ракушечник тебе, и галька!

И если в Краснодарском крае или на западном и южном берегах Крыма идут ливни, дует ураган, то сметает постройки, затапливает улицы, а в Феодосии — пролило, немножко у береговых линий постояла вода, а завтра уж ничего и нет, поезжай или гуляй смело. «Богом данная» — назвали город греки аж в шестом веке до нашей эры, понимая, где удобнее причаливать и строить.

ПОРОДА

В Крыму Валё всё чаще стал обнаруживать в себе отца: вот повёл рукой и сам увидел движение отцовской растопыренной пятерни с отведенным большим пальцем. Повернулся, а в зеркале — опять наклон головы Степаныча. И молотки стали вылетать от появившегося резко взмаха!

Но только через три-четыре года продолжительных наездов в Крым сын отдал себе отчёт, что жильё ему досталось — за него выбрали! — именно в том городе, где объявился и жил отец, оставивший его с мамочкой в Сибири.

Никаким боком прежде Валё о Феодосии не думал. Заезжал сюда в девяносто первом году на полчаса по пути в Ялту, навещая сына Егора в спортивном лагере: встретились, прошлись до пристани, которая была рядом с железной дорогой. Карпов-старший взошёл по трапу на «Комету» — курсировал такой сверхскоростной теплоход на подводных крыльях, — развернувшись, тряхнул в воздухе крепко сжатым кулаком, мол, победы. Сын в Феодосии готовился в составе сборной Московской области к юношескому чемпионату СССР. Чемпионат тот проходил в Ташкенте, где жил тогда отец — и опять некая закольцованность — дед Егора. Здесь дед и увидел впервые внука, сражающегося на ринге. И первым отбил телеграмму, что Егор завоевал медаль.

Чемпионат оказался историческим: шёл июль девяносто первого года, через месяц Советский Союз приказал долго жить, завоеванный титул стал безвременным. Отец же, Степаныч, в порыве внезапной дедовской любви к семье сына приехал в гости, преодолев расстояние от Ташкента до Москвы на... элек-

тричках. Поезд стоил денежку, а на электричке для ветерана ВОВ бесплатно. И вот так, пересаживаясь с одной на другую, в свои восемьдесят лет передвигался. Где-то в районе Оренбурга на некотором расстоянии электрички не курсировали, Степаныч за бутылку водки нанял машиниста, и тот его персонально довез на тепловозе до положенного места. В электричках он тоже время не терял: шёл по вагонам и объяснял пассажирам, наглядно массируя голову, как сохранить здоровое давление и как прививать одно растение к другому, допустим, яблоню к вишне, прихватив с собой ветки с садовым кривым ножом. Прибыл тогда к семье сына с кипой мятых денежных знаков! И гневаешься на него, да любишь!

Если чего-то тятя, как называли отцов в Кажу, недодал ему в детстве, то вполне воздал, воплотившись в литературные образы: написанные сыном повесть, рассказы, сценарий фильма, как выразился бы братка Сеня, «поднимали его по службе». «Опять на отца доносы строчишь!» — скосив бровь, говаривал гуманный критик Валентин Курбатов. Пародия на особиста ему удавалась блистательно, если еще к этому добавить его френч без ворота, под горло, напоминающий китель! Крой его пиджака десятилетиями оставался неизменным: «Он у меня с кампании двенадцатого года, — нестареющим фельдфебелем рапортовал на вопросы Валентин, — перелицевал — и как новый!» Тоже, Царство Небесное, был человек-сюжет! (См. рассказ «Настоящие сибирские мужики!»)

Последнее письмо, полученное от отца из Ташкента, написано обычным летящим красивым почерком. Была вложена и фотография: Степаныч в узбекской тюбетейке, с длинной бородой клином, веки наплыли на уголки глаз, придав им азиатский характер. Возложив руки на трость, как и подобает почтенному аксакалу, сидел он рядом с клоуном цирка, который выступал у них в доме престарелых. Цирк отец всегда любил! Было ему на ту пору восемьдесят восемь лет. А потом из Дома престарелых вернулось посланное сыном письмо с сообщением, что адресат выбыл в неизвестном направлении. Подженился, решили дети, и съехал. Но отец рано или поздно обязательно дал бы знать

о себе, а писем не было. Где его искать? Шёл год, другой.

Валё сделал запрос в адресный стол Узбекистана, мало веря в успех: какие данные о старике могут храниться в наше спутанное время? Да и отцу уже было девяносто с лишком. Пришёл ответ: проживает в городе Ахангаран по такому-то адресу. Валё написал. Ответа не последовало. Тогда сын дал телеграмму с просьбой к людям, проживающим по указанному адресу, сообщить любую информацию об отце. Ответили: по данному адресу находится собес, зарегистрированных или проживающих жильцов нет.

Далее история складывается детективная. Валерию как раз довелось познакомиться с известным узбекским режиссером и оператором. Добрейший человек взялся помочь в поисках родителя. Лично сам приехал в Дом престарелых, его, известного человека, приняли с гостеприимством, накрыли стол. Но по мере того как он излагал суть своего интереса, начальство исчезло, остались добрые нянечки и уборщицы, которые припоминали, что да, был такой шумливый дед, картинки рисовал... А где он? Что с ним стало? Не помнят. Тогда режиссер отправился в Ахангаран. В местном собесе тоже припоминали, что был когда-то здесь дом престарелых, и дед такой, по описанию, вроде был, но вроде помер. Истинный азиат, верный слову, признанный деятель кино пошёл на местное кладбище, добросовестно перерыл вместе со служителями последнего пристанища все похоронные книги и документы — не упоминается нигде Ладкин А. С.

Отец хвастался в письмах, что президент Каримов положил ему, имеющему справку об инвалидности из фронтового госпиталя, большую пенсию: «три семьи кормить можно», по его словам. Также сообщал, что подписал доверенность и за ним особый уход: отдельное помещение и «шоколадом закармливают». Напрашивался вывод: или «прибрали» старика, или сам скончался, а соответствующих документов не оформили, дабы продолжать получать пенсию. В южных широтах СССР (СНГ) это была обычная практика: частые должители здесь — еще и фактор пенсии, продолжаю-

щей начисляться. А как ещё свору детей прокормишь?

Это домыслы. Как на самом деле?

Ведомо одно. Не раз у Степаныча, гораздого ляпнуть, слетало с языка: «Живу — пока живу! Помру — хоть за ноги да на свалку».

С того ли света, с этого, в эпоху перемен и распада державы пропавший без вести Степаныч настойчивее и порой изошрённое заявлял о себе.

Стала манить порода Ладкиных, которой отец так гордился и в которой ему, сыну, отказывал. Расспрашивал по телефону старших брата и сестру (другая сестра, рукодельница Эля, рано померла в Киргизии) о том, кого и что они помнят. Про деда Степана, благо, можно прочитать в книгах, правда, только о времени баталий на Алтае в кровавом для всей страны тысяча девятьсот девятнадцатом.

Нашёл упоминание о предке Андроне Ладкине: в 1775 году вместе с Федором Шипуновым он заложил село Ново-Шипуново на реке Маралихе. Выходит, не только по материнскому роду, но и по отцовскому — чалдон.

Андрон — звучное имя! Но в коротком варианте — Дроня!

Дроня упоминается как отец двух взрослых сыновей и еще многих малых. Когда Валё об этом прочитал, Дроня ошутимо толкнулся в сердце: звал из восемнадцатого века. Ничего не меняется, всё идет по кругу, кольцом. У Валё Карпова тоже есть взрослые дети, имеющие своих взрослых детей, и есть малые.

...Я — первый, и в последних тот же...

Андрон Ладкин для Валё Карпова — первый. И в последнем, в Валё, он тот же. Валё Карпов есть первый для родившихся после него, и в последнем будет тот же. Что за таинство есть макромолекула ДНК — складно свёрнутая полоска сахарозы длиной в человеческий рост, хранящая знание рода от первого до последнего, ставшего снова первым, чтоб явиться в последнем? Кто её вложил в живой организм? Для каких целей, что и кому она должна передать в конце пути, если таковой будет? В великом романе Маркеса цыган Мелькиадес возвращается из мёртвых, чтобы разгадать тайные письма времён. И вместе с разгадкой налетает пред-

сказанный в манускриптах ураган, сметающий род Буэндиа, местечко Макондо и всё сущее на земле. И если это так, и понимание смысла бытия приходит только при конце его, то вместе с потоком унесётся и невидимая мельчайшая частичка, хранящая память и всю данность от первого до последнего — и где она приютится, даст новое семя и плод, чтобы появился первый, который будет в последнем?

ВМЕСТЕ С ЛОШАДКОЙ

В летний сезон приморский город не засыпает. Пляжный люд перетекает в кафе и рестораны, откуда возвращаются порой и с песнями в ночи. Или устраивает застолье во дворах или огородах, а потом, воодушевившись, идёт купаться под луну! А с пятницы на субботу к этому воодушевлению добавляются и местные — часа в два вдруг форсисто проезжает машина и из неё так бухает, что кажется, вся она должна ходить мехами гармошки! Подростки феодосийские взяли моду ночью кататься на мопедах: растачивают цилиндры двигателей, и агрегат, рассчитанный максимум на сорок, несётся под сотню в час.

Шестилетний Вова пришёл в спальню родителей:

— Можно я полежу с тобой? — спросил робко сын.

Мама оставалась в Москве, на круглой большой кровати папа лежал подобно стрелке часов на циферблате.

— А Василиса спит?

— Василиса телефоном светит, спать мешает.

— Ложись. — Папа подвинулся.

Немного помолчали. «Тр-р-р!» — промчался за окном мотоциклист, не иначе как участвуя в испытаниях.

— Папа, а у меня денежек хватит, чтобы купить лошадь?

Сын копил десятиники — ему казалось, что это самые большие деньги, потому как на них можно купить конфеты или шарики в автоматах. Нравится сам процесс: сунул в ячейку монету, повернул ручку — и шарик выкатился.

— Игрушечную?

— Нет, настоящую.

Не первый раз сын заводил речь о том, чтобы у них была лошадка.

Удивительно: если в детстве Валё, на Алтае, были табуны лошадей, то Вова родился в Москве и вживую видел и катался на лошади только в феодосийском парке, где хозяин водил коня по кругу за собой под уздцы. Да на Алтае, зимой, проехал в санной упряжке.

«А уж известно, что русский мальчик так и родится вместе с лошадкой», — сказано Федором Достоевским, вынесенное из детства его, маленького Феди.

— Настоящая лошадь стоит дорого, — гладил по голове сына Валё. — Как машина. Иные — даже дороже!

— Давай продадим машину и купим лошадь?

— Где же мы её будем держать? В квартире на третьем этаже? — На третьем они жили в Москве. — Как она по лестнице будет подниматься?

— А давай купим дом, как у Оли. — Это его старшая сестра, живущая в Геленджике. Она родилась уже после Егора и Иры, в восьмидесятых.

О детях и немало потомстве Карпова нужно говорить в отдельном повествовании, чтобы не запутаться.

Пока лишь скажем: Оля, как и некогда её бабушка Ариша, вышла замуж за мужчину с тремя детьми — всё повторяется в роду. Только Ариша родила одного, а Оля — троих! Оля с хорошим мужем и шестерыми детьми живёт в своём доме.

— В доме тоже нельзя держать лошадь. Нужна конюшня.

— Давай купим дом и построим конюшню.

— А где в Москве мы построим конюшню? Надо уезжать из Москвы в деревню. А девочки наши учатся в школе, надо бросать школу.

— А что, разве в деревне нет школы?

— Вырастешь, построишь дом в деревне с конюшней, и у тебя будет лошадь...

Вова успокаивается и засыпает, наверное, видя себя во дворе с конюшней и лошадью...

Папа бережно укрывает легкой простыней сына и ещё долго дивится жизни и времени:

вот только он, шестилетний, ехал на лошади по Кажу, потом первый сын, Егор, забрался без спроса на буйного Лёшкиного жеребца, и теперь Вова собирается купить лошадь. Мгновения...

На Алтае, где ныне много горнолыжных спусков, предприимчивый дед-конюх использовал лошадь, запряжённую в сани, вместо подъемника. Сажал за денежку ребят-лыжников и — в гору. На окраине Маймы, возле огородов. А обратно они уже своим ходом! Двойное удовольствие: и с горы скатился, и на лошадке в санях проехал. Да еще и за вожжи подержался. Восторг у всех — мелких, постарше, подростков. Дети, понятно, неместные: новогодние каникулы.

Вова с четырёх лет занимался в горнолыжной спортивной секции, и вся семья пристрастилась кататься с гор.

И навещать к родне на Алтай стали в основном зимой. Валё брал машину в аренду, и первым делом из аэропорта — в Бийск, на Зареченское кладбище. Расчищал снег лопатой или протапывал глубокие следы. Ступая след в след, шли подростки — дочери и маленький сын с женой.

Небольшой гранитный столбик с фотографией, с которой мамочка смотрела именно на тебя. И такое ощущение было у каждого.

Он существовал здесь в двух ипостасях: вот только, казалось, стоял перед взглядом матери с женой Валькой, ныне упокоившейся трагически, и старшими детьми, ставшими взрослыми, имеющими своих детей, его внуков, а потом и правнуков.

Тогда приезжали всегда летом. Обходили могилки всех родственников, коих здесь было немало. Вёл он семью и к памятнику Лидии Павловны Стариковой, учительницы математики, которая обратила на него внимание, выделила, ругая и похваливая, и он хотя бы относительно перестал быть обалдую, как предрекал отец. Рядышком с памятником Лидии Павловны — памятник её мужу. Разница в датах кончины — два дня. Дети приехали хоронить мать, а пришлось нести к последнему покою обоих.

Есть мнение, что на кладбище нельзя фотографировать живых, но хранятся фотографии

маленьких Егора и Иры у столбика с портретом мамочки.

И вот Валё здесь с другой семьей. В сознании: вчера и сегодня.

У младшей из дочерей — Василисы — глаза и взгляд до удивительного похожи на бабушкины. Внимательные, карие, с тем едва уловимым внутренним движением, которое умели выразить в женских образах средневековые великие мастера живописи.

Он страшно жалел, что совсем мало знал про мамочку. Про отца можно рассказывать бесконечно, и родня, как собиралась, со смехом и гневом порой вспоминала то одно, то другое. А про мамочку — лишь какая нянька хорошая была! Какая Ариша — таких людей не бывает! Помогала, выручала, заботилась — всё для родни!..

Она о себе не рассказывала, будто и не важна была — для себя. И ведь мог бы он, сын у неё единственный, расспросить дядю Яшу, пока тот был жив, иных старых родственников — как в деревне жила? Почему уехала в город? Она же первой в родне из Кажы уехала?! Или вместе с Полиной, ушедшей на войну? Может, и она на войну собиралась, только вот маму-старушку оставить было не на кого — у всех мал мала меньше! Работала сначала мамочка в военном городке, где формировались сибирские полки. Мало знает!

Войну, говорят, выиграл безымянный солдат. Оно и жизнь выигрывают добрые скромные люди с негромкими именами.

Потом ехал с семьёй по родне: Валё нужно было в жизни хотя бы периодами почувствовать, набраться духом близких по крови людей, когда тебе сразу несказанно рады, обнимают со слезой, будто вернувшегося с войны или из тюрьмы, и тискают детей, как самых родненьких своих, где-то терявшихся. И дети так рады, счастливы, что малознакомые дяди и тётки любят их, заботятся! И пельмешки — один к одному — тут же, и медок, и варенье!

Сестру Галю очень забавляло, что у братки-писателя дети младше внуков, а сын Вова — так и младше правнука, то есть он родился сразу дедушкой.

— Ну, Карпов-Ладкин, — смеялась Галя,

уверенная, что у Степаныча по миру гуляет, кроме известных четверых, еще с десятков.

Да, если бы всё складывалось положенным образом, когда ребёнок носит фамилию отца, он бы должен быть Ладкиным. Иначе бы сложилась жизнь? Или так же? Ореол имени, наверное, наносит свой отпечаток? Карповых очень много. Ладкиных иных, кроме родственников, он не встречал.

Он Карпов — более распространённый тип.

— Ой, как Василиса на лёльку Аришу похожа, — умилилась Галя, — глянет — и прямо лёлька смотрит!

Валё тоже считал: в поздних его детях особенно проявились бабушка и дедушка.

— А в Воле много от Степаныча!

— От отца твоего, чё ли? — Галина, несмотря на возраст, была такая же молодецкая и запалятая. — Да не приведи Господи! Ненавижу его, токо из-за него, подлеца, лёлька раньше в могилу слегла! Убила бы, будь моя воля!

Валё помолчал.

— Я ж не говорю, по характеру. — Ему почему-то всё же хотелось, чтобы в сыне было от деда. — Так, повадками. Шустрый такой же!

— Ой, да они в этом возрасте все шустрые! Хороший мальчонка, нечего мне на ребёнка наговаривать! — сгребла она племянку сильными длинными, хотя уже и морщинистыми руками.

Московские дети, привыкшие к снегу, который сразу превращается в грязную кашу, просто купались в высоких белых сугробах Галиного огорода!

На горнолыжных трассах Манжерока или Бирюзовой Катуні четырёхлетний Вова мчался наравне со взрослыми, понуждая народ у подножья спуска засматриваться и улыбаться. Сёстры и мама скатывались с пылающими от встречного ветра и восторга лицами! Братик же оставался совершенно невозмутимым: ну что такого, проехал с горы? Будто по тротуару прошёлся.

Встали перед дилеммой. Отправиться по Чуйскому тракту дальше, в верховье Катуні, где горы с нетающими снегами, а на скалах — рисунки оленей, приметы древней цивилизации? Художник и путешественник Николай Рерих в

тех местах и обнаружил Шамбалу, страну красоты и благоденствия! Толкователи до сих пор спорят, где это место? Хотя на Алтае, куда ни глянь, везде Шамбала! Везде захлёбываешься красотой, свежестью воздуха и еще чем-то необъяснимым, что, зная, и есть принадлежность вечности. На Телецком озере красоты не меньше: высокогорная водная, вытянутая в сотни километров чаша, объятая тайгой.

Но у горнолыжников свои мерки прекрасного: победил аргумент — спуск «Телецкий» по горе Кокуя длиной в пять километров!

Дороги по Алтаю хорошие, особенно Чуйский тракт — оно и понятно, туристические автобусы один за другим! И не только из России, со всего мира люди жалуют!

Дорога от Горно-Алтайска до посёлка Артыбаш на Телецком добротная, но в условиях зимы неширокая — начищенный снег вырос по обочинам стенами. Разъехаться с легковушкой не представлялось труда, но когда навстречу прёт КамАЗ с прицепом, груженный лесом, то приходилось брать как можно правее, опасаясь зацепиться зеркалом бокового вида за снежную насыпь. Было седьмое января, Рождество, но машины с лесом шли и шли, невзирая на праздник и назначенный государством выходной: родственники сетовали, что хороший строевой лес увозят в Казахстан и далее, а им, в Горном, можно лишь втридорога купить только «неликвид». Как жаловались они и на застроенные берега Катуні: не подъедешь, не подойдёшь. В этом смысле его родной Бии повезло больше: вдоль реки нет трассы и берега остаются мало затронутыми.

Бия, в отличие от Катуні, река более спокойная, вода в ней светлая и не столь холодная. Купайся, рыбачь, плыви на лодке и любуйся не менее буйной и необузданной природой!

Алтай зимний — белый, искрящийся, слепящий мир! Солнечные зайчики прыгали на снежном насте по обочине. Заснеженная тайга блистающими, перемигивающимися кружевами взбиралась по волнистым склонам к поднебесью. Игольчатое солнце восторженно застилало лобовое стекло машины, играя в догонялки.

А лесовозы снова и снова летели навстречу,

надвигались, водитель арендованной легковушки припадал к рулю, контролируя малейшее движение машины по заледенелой дороге. «Ф-фу-ух!» — поток встречного воздуха с шумом заметно тормозил и поддавливал в сторону. Валё пытался никак не выказать своего напряжения и опасения, и семейство пребывало в покое и благодати.

— *В лунном сиянии снег серебрится...* —

нежным высоким голосом выводила жена Тая, имевшая специальную вокальную подготовку. И детки подпевали:

— *Вдоль по дороженьке троечка мчится...*

Да и сам Валё, вырвавшись из западни, как умел, восклицал:

— *Дили-дом, дили-дом...*

У истока Бии, вытекающей из Телецкого озера, зияла громадная полынья — не замерзала, несмотря на мороз. Лавина воды выходила из-под льда объятых лесом озера, ухала вниз, становясь рекой с быстрым здесь еще течением. Сильное зрелище — рождение реки!

Почти сорок лет назад Валё был на Телецком с семилетним сыном Егором. Тогда в Артыбаш летали вертолётами, но это стоило по тем временам хорошую денежку. Другой путь: из Горно-Алтайска до Турочака, большого села на Бии, рейсовым Ан-2 — «кукурузником», а дальше — по грунтовой дороге маленьким автобусом «пазик». По озеру из конца в конец курсировал пароход. На нём они с Егором и проплыли, на себе ощутив изменение климата за путь в сто пятьдесят километров, будто с севера до юга — одно из чудес Алтая!

На том же пароходе встретился кинооператор Анатолий Заболоцкий, снявший «Калину красную» с Шукшиным. Валё самому было неловко подходить к именитому человеку: не по нему это — навязываться. Маленького росточка, улыбочивый, Анатолий постоянно фотографировал и неожиданно вдруг облюбывал их — отца и сына — как натуру. Подошёл, предло-

жил сделать снимки. Спустя время Валё увидел фото с Егором, прижавшимся к нему и очень похожим, в авторском альбоме Заболоцкого «Сибиряки». Лестно было, что кинооператор намётанным глазом признал в них сибирскую породу.

Горнолыжные спуски около Телецкого озера оказались слишком сложными для мало-подготовленного семейства, не исключая пусть и профессионала, но еще маленького Вову. Да и мороз вдарил за сорок, обжигал лицо, когда просто прогуливаешься и кутаешься в шарф.

Дети покатались на собачьих упряжках — всё тут уже у них, на Телецком, было организовано: и нарты с оленями, и мощные ревушие снегокаты. Плати и развлекайся!

Да сибирский холод стал не на шутку пытаться людей, одетых по-московски: до слезы, до ледяной пыли изо рта, в которую мгновенно превращается выдохнутый пар. Погнал в тёплую избу, в баню на берёзовых дровах. Валё споро наколот поленьев, как ему приходилось это делать всё детство, только тогда подневольно, а сейчас с большущей охотой. Чурки на морозе разлетаются легко: тюк! — и рассыпалась с сохранившимся внутри запахом смолы.

Напарились и с утра покатали в Майму, где прогноз погоды показывал всего минус шестнадцать, и ждали калиброванные, один к одному, Галины пельмени, а для папы — еще благоуханный напиток Галиного перегона. Это ж какую голову надо иметь родителям, чтобы в лютый мороз потащить детей на арендованной — мало проверенной — машине через тайгу и снега!

Так Валё и существовал в настоящем — улетающая в множасьее былое. За открытым окном стихло, чувствовалось дыхание ночного крымского воздуха, лился ровный сизый свет, как всегда бывает вблизи моря, когда не поймёшь, то ли светает, то ли час ночи. Сын Вова спал, снова сбросив с себя простыню. Задремал и отец.

Взрыв и общее содрогание в первое мгновение показали продолжением сновидения. И еще раз взрыв — теперь уже явственно подпрыгнул дом. Валё выскочил на балкон, по-

лагая, что идёт атака с моря — из бывшего жилья «на земле» в старых кварталах семья давно перебралась в типовую квартиру, где с балкона открывался вид на весь Феодосийский залив.

Нет, море было чистым, хорошо обозревалось в лунной предутренней ночи: атаки с воздуха на Крымский мост обычно шли в районе трёх-четырёх часов.

Ярко, во всё небо, сверкнуло слева — с той стороны комнаты, где спала дочь. Теперь двоящийся звук можно было разобрать: выстрел ракетного орудия и взрыв, поражающий цель. Валё бросился в детскую.

Навстречу уже летела Василиса:

— Папа, там огонь!

Атака на нефтебазу, находящуюся в километре от их дома. Огненные разрывы полосовали небо еще дальше, но звук оглушал, а дом содрогался.

Вместе с дочерью рванулись к Вове — мальчик, видимо, в сладком сне вместе с лошадкой, спал как ни в чём не бывало. Отец резко взял ребёнка на руки, втроём выскочили на лестничную площадку — специальный человек во дворе проводил встречу с жильцами и объяснял, что на случай бомбёжки самая крепкая конструкция в доме — лестничный проём. Всё обвалится, а остов лестницы стоит. Тогда еще он прошёл было мимо, не любя общие собрания, но именно Вова приостановился послушать.

Внезапно разбуженный сын прижался к отцу:

— Папа, что это?

— Беспилотники, наверное, — ответила дочь.

Рванулась назад, в квартиру.

— Ты куда?

— За Лесей.

Прибежала с кроликом, беленьким и пушистым.

— Беспилотники собьют? — голос у ребёнка для его возраста был низким: в деда.

Валё обнимал детей вместе с кроликом в руках Василисы, обнаруживая своё неожиданное бессилие.

Он жил, полагая себя человеком, который принимает решение и делает выбор сам. И вот

она, ситуация, где решение и выбор сделали за него. А ему остаётся только пытаться укрыть собою деток, понимая, что броня из него неважная.

Если еще минуту назад, как гуманист, он мог предполагать в противоборствующих сторонах возможность двух правд и двух правомерных устремлений, то сейчас, держа в объятиях детей своих, пришло ясное понимание, что правда и право только под твоими ладонями, где бьются — пульсируют вместе с твоей рукой — сердца жизни твоей. А вместо второй правды — враг, стремящийся уничтожить весь род твой от истоков до неведомого будущего, в котором первый будет в последнем. И если бы в этот момент дать ему оружие, из которого он мог бы поразить врага, он, сердобольный, жалостливый, сделал бы это тотчас.

Стихли взрывы. Сердце кролика стучало чаще и громче сердец людских: трепетало. Все вместе ещё постояли на лестничной площадке, вернулись в квартиру.

Ночные городские фонари, видимо, отключили, и со света едва видимые контуры коридора и дверных проёмов казались ожившими, затаившимися. Потянуло к окну, глядющему в сторону нефтебазы. Стальные цилиндрические баки белели в ночи ровными рядами. Небо с предутренними тусклыми звёздами было чистым, словно и не полосовали его огненные всполохи.

Кролика Василиса, погладив и прижав к щеке, отправила в клетку. Захотела прилечь вместе с братиком и папой. Вместе — всё не так страшно.

Господи, совсем неподалёку, в трёхстах километрах, снаряды летят день и ночь, а ведь надо также устраиваться с детьми на ночлег...

Утро было, как почти всегда в летнем Крыму, солнечным, лучики веером заглядывали под потолок.

Дети спали тоже по обыкновению головами мимо подушек, разбросав укрывающие простыни.

С балкона — хорошо, пятый этаж — Валё с наслаждением обозрел умиротворённое море, обратил внимание на дорогу по улице, проле-

гающую мимо дома. Чуть поодаль половина дороги была перекрыта, стояла полицейская машина, и регулировщик командовал реверсным движением. Он ждал, что приезжий люд после ночных событий рванёт из города, будет поток машин на выезд. Пробка из машин, тянущаяся с Керченского шоссе, выстроилась как раз наоборот, на въезде в город. То есть ночной налёт беспилотников и взрывы не обратили людей, отдохавших в Феодосии, в бегство, как и не напугали ехавших в Крым — таков уж русский человек, вечно надеющийся на авось!

А в отгороженном на дороге отсеке лежало что-то вроде похожее на человека.

По пути к морю отец с детьми полюбостовали, что там, на дороге, охраняла полиция.

Беспилотник с изломанными линиями крыльев, словно упавший на бегу человек, распластался по асфальту.

— Как трансформер, — произнёс Вова с ноткой восхищения.

Людей на пляжах вдоль черноморской набережной было уже много. Шум моря, плескания, и не слышно обычных разговоров, возгласов. Только редкий детский где-то взвизг.

Василиса уплыла к буйку, а Вова любил делать сальто в воду с папиных рук: прыг, кувырок, плюх! Освежившись, направились к тренажёрным снарядам.

По кромке берега шёл полноватый и лысоватый мужчина с двумя небольшими ведёрками жёлтой зрелой алычи.

— Как вы думаете, — обратился он с улыбкой к отцу с детьми, — почему я с утра иду по пляжу с алычой?

— Ну, наверное, хотите продать.

— А вот и нет, — обрадовался человек — воплощенный такой Карлсон с крыши, — мы с женой были в Джанкое и набрали там восемь ведер замечательной алычи, посмотрите, какая она крупная и налитая! — Валё покивал. — И я иду, чтобы отдать алычу. Бесплатно, просто отдать. Берите ведёрко!

— Но у нас не во что пересыпать...

— А не надо пересыпать. Я специально взял ведерко из-под шпатлёвки, чтобы отдать вместе с ведёрком. Не волнуйтесь, оно чистое, я его тщательно вымыл.

— Спасибо, — протянул к дужке ведра руку Валё.

— Можете взять и второе.

— Да нет, порадуите кого-то еще. Вон люди тоже с детьми.

— Из алычи очень вкусный компот получается! А если настоять и перегнать, — мужчина поставил ладошку к уголку рта, как театральный суфлёр, — замечательная ракия! Знаете, что такое ракия? Сливовый самогон. А ракию хорошо настаивать на груше! Знаете как? Берёте пустую бутылку, насаживаете её через горлышко на ветку с зародышем груши, груша внутри вырастает. А потом в бутылку наливаете ракию. Подаёте на стол, все удивлены, как это груша влезла в горлышко бутылки?! И вкусно, и красиво, и оригинально!

Светясь в улыбке, солнечный человек мягкотело пошёл вдоль берега дальше. Вот он прошёл, и как наваждение сняло: послышались голоса, живые разговоры и движения людские приняли обычный для пляжа плавный ленивый характер.

Дети еще остались купаться, а отец с ведёрком алычи двинулся домой.

Алыча росла и на деревьях у тротуара, прямо около их дома. Но не столь крупная и налитая. Да и лестница нужна, чтоб собрать: снизу всё пощипали.

У родителя с детьми хлопот много, поэтому первым делом поставил вариться компот из алычи — дети вернутся, а здесь уже готовый напиток.

Не дожидаясь, когда закипит, забросил в барабан стиральной машинки накопившееся бельё: в Москве этим занимается жена, но здесь без неё приходилось самому.

Каждый раз, включая стиралку, он вспоминал слова мамочки: «Человеку, который изобрёл стиральную машину, нужно поставить памятник!»

Стиральная машина «Белка» появилась в их доме, когда он уже учился в пятом классе. Это было страстное создание, похожее на бочку, неистово прыгающую при работе. Воду в неё требовалось залить несколько раз, сливая помой через шланг в ведро. Постиранное бельё пропускалось для отжима через валики, враща-

ющиеся с помощью рукояти. Ответственность за отжим лежала на Валё, который заодно и качал мышцы.

А до того мамочка и мама Клава стирали в оцинкованном корыте, уложив под наклоном от края ко дну рифленую доску. Намыливали белье хозяйственным мылом и — туда-сюда по ребристому склону.

Энергией тогдашнее взрослое поколение обладало невероятной! Постиранное белье полоскали, принося в вёдрах воду из колодца и по нескольку раз меняя в корыте, а летом это делали на реке. По Бие постоянно сплавляли брёвна, которые народ ловил баграми, связывал в плоты. Бабы устраивались на плоту, где глубоко и дно не взбаламутишь, плюхали белую одежду и простыни в проточную чистейшую воду, а потом, уложив на бревне, выбивали пузатыми зубчатыми деревянными валиками, взмахивая ими, как саблями.

Не будь этого, век Валё отмерился бы четырьмя годами. Мальчишки любили бегать по связанным шатким брёвнам, даже играли в догонялки. Из сегодняшнего дня невероятно, как это четырёхлетний ребёнок мог один отправиться на реку, бегать по плотам, но тогда это было в порядке вещей. Дети выросли раньше. Тонули, конечно, часто: упал, а плоскость плота, как и любого судна на воде, имеет свойство затягивать. Бывало, взрослые не выплывали. Вот и Валё бултыхнулся.

Он помнил, как это было. Или, скорее, память сконструировала рассказы взрослых — отчётливо виделась собственная рука, цепляющаяся и сползающая по скользкому бревну.

Мамочка потом еще долго, встречаясь, и благодарила, и подарки дарила женщине, успевшей бросить валик, схватить руку «утопленника» и выдернуть мальчика из-под покрыва плота.

Стоит добавить, что на идеально постиранном белье дело не заканчивалось. Хозяйки потом крахмалили все эти занавески, наволочки, кружевные накидки, наглаживали, заправляли постели — всё симметрично, ровненько, подушки одна на другой, а верхняя — в виде наполеоновской треуголки. Такая вот нарядная

кровать! И каждый день обязательно — застелить как напоказ. А как парни брюки наутюживали — стрелка в линию! И при этом рабочая неделя, как и учёба в школе, была шестидневной, огороды, плюс картофельные пашни у каждой семьи, заготовка дров! Удивительной силы поколение!

Ах, если бы мамочка видела, какие стиралки сейчас! Закинул белье, нажал кнопки — и ходи-гуляй!

Памятник изобретателю стиральной машины!

Что является исполнением более высокого предназначения — творчество или постиранное бельё и компот для детей? Для Карпова это серьёзное противоречие отпало, как отболевшая короста.

Валё раскрыл компьютер, засветился экран. Пока варилось и мылось, сделал выписку из книги переписи населения в селе Кажу, где от года 1830-го значилось рождение и крестины Матвея Карпова, его прадеда. И в младенчестве он мог бы сидеть на колене Матвея, как сажает прадедушка Валё на колено своих правнуков. По ко-ле-нам — поколениям — совсем близкий предок. Но так сложилось — их разделяют эпохи.

Матвей был в солдатах двенадцать лет, выходило, что годы службы его совпадали с событиями Крымской войны. Есть вероятность, что с поручиком Львом Николаевичем Толстым, примерно ровесником, мог сражаться и в Севастополе.

Уже после службы у прадеда Матвея родился сын Михаил, отец мамочки, упокоившийся раньше времени от тягучки, которая бывает, если испить обильно родниковой воды в июльскую жару. Но десятерых успел произвести на свет.

В солдатах Матвей набрался грамоте, на склоне лет читал детям Библию, и безграмотная внучка Ариша это всю жизнь помнила. Опочил старый солдат в девяносто три года, при Советах, когда «неналазная» Ариша и её брат Яша ускакали от уездных комиссаров в лес на быстроногом Мухорке, спасая любимого коня. Немногословная мамочка об этом вспоминала часто, как вспоминал до кончины

и дядя Яша, обязательно весело добавив: «Ох, и конь был Мухорка!»

«Конные прогулки в Феодосии», — с озарением набрал Валё в поисковике компьютера. Ого, маршрутов оказалось много! Из Коктебеля, от Белой скалы, из Орджоникидзе — до бухты Тепе-Оба.

Вот это праздник для детей!

Он не стал говорить, куда они отправляются. Прибыли на место в поселок Солнечный, остановились — а за оградой небольшой табун! Лошадок двенадцать. Справные все, ухоженные. Сердце ринулось вскачь! Одно слово — КОНИ!

Конюшной заведовали толковые люди — провели инструктаж и именно младшему из группы выделили самую красивую рослую светло-гнедую лошадь с гладкой чёрной гривой. И поставили впереди строя — понятно, кобылка была обученной, способной пройти найденный путь и без седока. Но мальчик-то в седле сам держал поводья! Вёл за собой всадников! Лошадка, идущая в гору, меняла ритм, и седок привставал в стременах на укороченной под его ноги бечёвке — правил! Папа ехал тоже на добром мерине сзади и видел, как даже спина и расправившиеся плечи сына выражали внутренний полёт — «так с лошадкой и родился!»

Вдруг мальчишка обернулся и на высоком дыхании произнес:

— Папа! Спасибо тебе!

За желанные подаренные игрушки он так «спасибо» не говорил!

Василиса получила небольшую лошадку, которую и звали соответственно — Монголка. Белой масти с нарядной седой гривой. Ехала позади. Путь лежал по узкой просеке меж деревьев, Валё, как ни оглядывался, дочь видел мельком. Зато сопровождающий группу инструктор — симпатичный чернявый юноша лет пятнадцати, татарин, сын хозяйки заведения, — взялся её опекать отдельно. Приостанавливался, сидя на лошади бочком, как это делали дамы в девятнадцатом веке, снова дёргал поводья, рысцей пронёсился вдоль вереницы наездников, возвращался обратно, всегда оставаясь к людям лицом.

Выбрались из чашобы на высокий обрывистый берег Двужкорной бухты, лежащий в море подковой. Слева распростирался и корабельным носом врезался в воды мыс Ильи. Здесь завершался тянувшийся вдоль южного побережья Крыма горный хребет Тепе-Оба.

Конники выстроились в ряд. Только Монголка под Василисой то и дело била копытом оземь и кренила голову — на то она монголка и есть.

Море обозревалось во всю ширь. Еще недавно отсюда, с крутизны, постоянно взлетали дельтапланеристы, кружили высоко над гладью вод. Сейчас, видно, вышел запрет, и в «подкове» бухты носились лишь чайки.

Отец поглядывал на сына, боясь, как бы тот от страха — все-таки очень высоко — не дёрнул поводья. Мальчик сидел как влитой, да и лошади были столь подготовлены, что держались, как в кавалерии, в ниточку!

Внизу оброненными каплями виделся полуостров Киик-Атлама, что означает «прыжок дикой козы». Да, именно дикой, распластавшейся по воде с вытянутыми длинными ногами, обрамлёнными копытцами. Здесь при Советах располагался Торпедный завод, зашифрованный под скромное название «Гидроприбор».

Совсем рядышком, отделенный крохотным водным промежутком, лежал островок Иван-Баба. Монах отец Иван жил здесь, по легенде, в шестнадцатом веке. Пройти к нему можно было только по жердочке, уложенной меж каменистыми берегами над бурлящим в ущелье водоворотом. Так что шли к монаху только те, кому и впрямь необходимо.

Когда-то здесь затонул корабль, и до сих пор гибнут удалыцы, пытающиеся проплыть узкий проём на лодке.

И опять где-то — непонятно где, потому как звук разлетался по морю, — раздались далёкие пулемётные очереди, громынуло оружие.

— Учения, — сказал юный инструктор.

Он сидел на коне перед обрывистым берегом задом наперед, чтобы видеть и следить за всеми наездниками. Дал команду разворачиваться, прежде, как на спортивном коне, развернувшись в седле единым махом. И татарский мальчик так с лошадкой и родится!

Вова тоже вполне успешно справился с задачей, изо всех сил потянув повод вправо. А вот под Василисой конёк цапнул соседского мерина зубами и успел лягнуть по ноге. Оказалось, что Монголка — жеребец! А потому, как любая тварь на земле, способная к продолжению рода, отстаивал и пытался расширить своё пространство жизни.

Звуки выстрелов, словно отсекающих мгновения, и глухие орудийные залпы, похожие на далёкую грозу, скорее успокаивали: на страже подготовленные бойцы.

Прибыли на место, инструктор помог Вове спуститься, спросив при этом Василису:

— Понравилось?

— Еще бы! — сияла она.

— Папа, я хочу здесь жить! — вскричал Вова.
— Давай сюда навсегда переедем?!

— Переезжайте, — мальчик-инструктор обратился уже к отцу детей. — Сейчас многие из Москвы к нам переезжают, — усмехнулся и добавил: — Или не Питер, не затягивает?

— В смысле? — не поняла Василиса.

— Ну, Петербург же на болоте построен.

Знать, не первых он этой интермедией разыгрывал, но... в точку!

Кормили лошадей приобретённой здесь же, на конном дворе, нарезанной морковкой. Вова немножко ёжился, видя перед своей рукой оголившиеся лошадиные зубы, часто ронял кусочки морковки, а Василиса протягивала ладонь открыто, с заботой, будто кормила своего кролика Лесю! И в этом случае Монголка осторожно снимал с ладони лакомый корм влажными губами.

В тёмно-коричневых глазах лошадей Валё всегда видел глядящие из глубины карие очи мамочки. И теперь «бабушкиными» глазами смотрели на коней его дети, и бабушка смотрела из глаз лошадок на малых внуков своих.

И родня, стоило Валё умилиться, явилась пред очи на конный двор в селе Солнечном, который располагался на косогоре, как некогда пасущиеся табуны за речкой Кажа, что означает говорить.

Карпов невольно повернулся к городу, как бы приглашая родню полюбоваться Феодосией — заливом, уходящим косой к поселению

Приморскому. Старой полуразрушенной Генуэзской крепостью. Набережной и Галереей Айвазовского с памятником художнику перед зданием, в котором Вова признал Пушкина. Торчали и, как бородавки на теле, баки нефтебазы.

Пока Валё искал разумения в прошлом — прошлым стало настоящее. И к моменту написания этих строк, с третьей-четвертой атаки нефтяные баки были взорваны. Столб пламени бил до небес, Хозяин Феодосии — Дара Божьего — наслал ветер в восточную сторону, защищая старый город. Чад и чёрный дым стелился по морю и поселковым домам, понуждая жителей на время выселяться.

Когда Карпов с детьми ехал в Москву, то в районе Ростова также пылали нефтяные баки. И горел полосой сухостой на поле, подбираясь к беспечно пасущимся овцам и коровам. А пастуха почему-то не было! По прежним временам, в годы его детства, проезжающие водители остановились бы, взяли лопаты, закидали огонь землёй. Ныне машины мчались по отличной скоростной высокой эстакаде у раскинувшегося водоёма — озера ли, запруды? Остановиться здесь невозможно. Валё позвонил в службу спасения, но это ведь так, для очистки совести, — никто сюда не успеет, полоса огня быстро бежала к животным, склонившим головы к траве. Надежда только на проснувшийся звериный инстинкт, который поведёт домашний скот к воде, в воду. Машины, обгоняя друг друга, скрывались на вираже за подъёмом. Пятнистые коровки с пегим быком и кучерявые овечки с рогатым бараном исчезали из вида, оставаясь на узкой делянке пока не охваченного огнём зелёного луга.

Потянем дальше кудельку былого — нить таковую, которую вытягивали из пряжи, ссучивали пальчиками и наматывали на веретено.

Валё, стоя на покато конном даре, мысленно приглашал полюбоваться Божьим Даром свою алтайскую родню.

Карповы ревностно относились к прославленной земле Крыма. Он явственно услышал сестру Галю: «Ой, не знаю, чё с этим Крымом носятся? На Алтае у нас хуже, чё ли?!»

Чувство родовой единотелости присутствовало в Карпове всегда. Это часто мешало жить и ранило, потому что чужого, а то и враждебно-го, хуже того, ироничного человека невольно принимал за своего, родного. Но это и придавало сил: в век синдрома одиночества — одиночества он не знал.

Ах, сколько же сестра с братом пережили опасных моментов на конном маршруте! Весь вечер наперебой Вова и Василиса рассказывали отцу, как на спуске лошадка споткнулась, и ещё бы чуть-чуть, а на подъёме нога коня соскользнула, и еще бы немножко, но оба успели, усидели в седле!

Время в двадцать первом веке стремительно меняет всё, образ мысли и саму жизнь, но одно остаётся неизменным: дети на Руси так и роятся с лошадкой.

Память о прошлой ночи никуда не делась. Дети снова прилегли под бочок к папе. Окно держали открытым, чтобы, чуть запрокинув голову, видеть яркие звезды. Тишь стояла, ни голосов не слышно — гуляющего обычно до утра народа, ни машин. Все затаились, ждут. В Крыму появилось новое словечко — «ждуны». Но это не те, кто в напряжённости ждёт возможного удара, а те, кто ждёт победы противника, пуская слух, что как только, так всё готово — будут стрелять и резать.

Поезд прошёл согласно расписанию. И снова тишина. Мотоцикл протарахтел — прямо на радость, что жизнь идёт. И, если прислушаться, — легкий шум прибоа.

Отец лежал между спящими дочкой и сыном, будто по команде «смирно», «руки по швам».

Собака вдруг залаяла, не выдержав странной незыблемости ночи. Тотчас откликнулась другая, третья. И вдруг послышался глухой и в то же время гулкий знакомый лай. «У-а-ф, у-а-ф», — как бы в пустоту, когда не хотят слышать. Это залаял большой, с клочковатой шерстью Рольф, прямо из Киргизии, из того времени, когда Валё разбивал колотушкой куски радиоактивного асбеста, превращая в труху, из которой вместе с отцом делали замес для залива потолка. А Рольф, скуля и вертясь на цепи, снова

принимался ухать горловым лаем: «У-а-ф! Что вы творите?!»

Задиристо и звонко из Бийска залаял лохматый, вечно взъерошенный — хвост каралькой — Тарзан! Рядом с псом, на скамеечке возле дома на горе, рыжий старик дядя Вася, переехавший ради детей из Кажи в Бийск, неподвижно обозревал Заречье и светловодную Бию.

Тявканье с привизгом, до сорванного звука пронзило окрест. Жучка, чёрненькая, небольшая, летела по зареченской улице Андреевской за уходящим автобусом. Её хозяин Степаныч в бостоновом костюме и китайском, тонкой ткани пальто смотрел из заднего окна, а рядом с ним блаженно и отчего-то, казалось, счастливо глядела хозяйка Ариша — она ведь не уезжала...

Удивительная сила самообладания была в Ирине Михайловне. За всю жизнь Валё только один раз видел, как мамочку покинуло равновесие.

К остановке в районе Новостройки подошёл автобус, битком набитый пассажирами. Ожидавшие люди ломанулись в двери, толкаясь и вдавливая глубже тех, кто стоял, точнее, зависал на ступеньках автобуса. Дома, в Заречье, обязательно бы из толпы кто-то окликнул, Ариша, мол, или Ирина Михайловна, давай сюда, а ну, дружно выдохнули!.. Но здесь её не знали. И друг друга не знали. Новый район! Толпа казалась сворой собак, сцепившихся клубком. Или крестьянами и рабочими в Гражданскую: вот дай им по сабле — и начнётся рубка. Валё стоял и не мог лезть в толпу. И мамочка стояла за его спиной. Вдруг она вздрогнула, резко двинулась, взяв сына за плечи и прижав к себе, и так же неожиданно резко произнесла: «Так и будешь всю жизнь стоять? Вперед! Пролезай!» И, подталкивая его перед собой, круто заработала плечами. Это было не похоже на неё — не по её характеру! Но надо было уехать! И еще больше надо было, чтобы сын не оставался с краю и умел давить плечом, когда требуется. Валё не хотел видеть такой свою мамочку. Но они отвоевали место и уехали к себе, на ту сторону, в Заречье.

Так же только однажды он видел оброненную мамочкой слезу. В последние мгновения

жизни взгляд Ирины Михайловны медленно проплыл по лицу сына, не в силах остановиться, отчётливо выражая мысль: «Самое трудное в этом уходе — покинуть и не видеть больше дитя своё». Мамочка припала щекой к подушке, и крупная капля прокатилась по лицу её.

Сын помнил рассказ, как мама-старушка — так все в родне называли бабушку Валё, — не зная слёз на людях, в миг кончины тоже заплакала.

Дети на этот раз не уходили среди ночи, как это делали обычно, ложась с папой или даже с папой и мамой. Дочь спала, свернувшись клубком, сын поперёк кровати, положив ноги на отца.

Собаки в ночи подняли гвалт. Перед бедой — собаки воют. А эти, за разными заборами и оградами, из разных мест заходились лаем, зная, не в силах стерпеть тишину, каждый миг способную разорваться содроганием всего сущего.

Лай стоял, улета в небеса, кажется, на весь мир, вселенную, сливаясь в далёкий вой, тоскующий по былой волчьей стае, вольной и слаженной.

Округлая, как земное полушарие на карте, кровать со спящими детьми и смыкающим веки отцом, будто летающая тарелка, на волнах волчьего гула переместилась туда, в пределы, где прошлое и жило в настоящем.

В раскинувшейся по реке захудалой сибирской деревне, заросшей буйным цветением медуниц, бессмертные комиссары подсчитывали недоимки с ульев, расставленных наезжающими пасечниками, выходцами или потомками выходцев с Кажу. А за околицей, галопом, во весь упор уносил в берёзовую рощу Вову и Василису быстроногий буланый конь Мухорка.

Владимир Александрович КАРПОВ

родился на Алтае в 1951 г. Окончил Ленинградский театральный институт (ЛГИТМиК). Автор книг прозы, сценариев художественных фильмов. Один из авторов антологии «Шедевры русской литературы XX столетия» (РАН). Переводчик произведений якутских писателей. Лауреат всероссийских и региональных премий, отмечен наградами отдельных изданий.

В эфире радио «Мир», «Радио-1» вёл авторскую программу «Национальный герой», подготовил более двухсот выпусков о выдающихся людях отечественной истории. Секретарь правления Союза писателей РФ.

